

Е. В. Марле.

Крестьяне и Рабочие

во Франции

эпоху великой революции.

Издание третье.

Веб-публикация: библиотека Vive Liberta и Век Просвещения, 2009

См. также:

Е.Кожокин. Французские рабочие: от Великой буржуазной революции до 1848 г. историко-социологический анализ на основе документальных источников перв. трети XIX в.

<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/kozhok2.pdf>

<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/kozhok3.pdf>

http://vive-liberta.narod.ru/biblio/kozhok_lit.doc

Петроград.

Книгоиздательство В. С. Клестова В. О. 12 л. д. 19-а.

1919

К.Раткевич. Рабочие в Великую французскую революцию

А.Адо. Крестьяне и Великая французская революция

(революционное движение в деревне в 1789-1794 гг.) -

скоро в нашей библиотеке

http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio_1.htm

Другие тематические материалы (статьи, монографии и подборки документов) со ссылками для скачивания приведены в конце документа.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Крестьянство в 1789 — 1799 г.г.

Главы:	Стр.
I. Крестьянский класс во Франции к концу XVIII столетия. — Различные категории крестьян. — Крестьянское землевладение и землепользование.	7
II. Государственные налоги и повинности, лежавшие на крестьянах в XVIII веке. — Общее материальное и культурное состояние крестьянства перед революцией.	17
III Крестьянский вопрос в 1789 году. — Крестьянские наказания 1789 года. — Падение феодального строя. — Крестьяне в эпоху Учредительного и Законодательного Собраний	27
IV. Увеличение площади крестьянского землевладения в эпоху 1789 — 1799 г.г.: 1) возврат общинных земель. 2) покупка части национальных имуществ	49

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Рабочий класс во Франции в эпоху революции.

Главы:	Стр.
I. Общее состояние промышленности во Франции накануне революции. — Рабочий класс накануне революции. — Различные категории рабочего класса	59
II. Положение рабочих в первые годы революции (1789 — 1791 г.г.). — Движение 1789 года. — Стачки 1791 г. — Политическое умонастроение рабочих в эти годы.	68
III. Подготовка закона о максимуме. — Жирондисты и монтаньяры и их отношение к проекту закона. — Установление закона о максимуме.	94
IV. Рабочий класс в эпоху закона о максимуме (1793 — 1794 г.г.)	101
V. Рабочие в эпоху директории. (1795 — 1799 г.г.). — Их экономическое положение — Дело Бабефа и отношение рабочего класса к этому делу. — Настроение рабочих к концу революционной эпохи — Отношение их к утверждению верховной власти Наполеона Бонапарта. — Заключение.	115

* * *

Французские события 1789 и следующих лет возникли на почве несоответствия между социально-экономическими и культурными потребностями подавляющего большинства народа и теми политическими и юридическими формами, какие выработались исторически и застыли в неподвижности, несмотря на все глубокие изменения в жизни. Огромную, руководящую роль в падении старого строя сыграла французская буржуазия, самый образованный, деятельный и экономически-самостоятельный класс народа. Как крестьяне, так и рабочие (с точки зрения закона тоже входившие в состав так называемого *третьего сословия*, как и буржуазия), за вычетом очень редких моментов, не играли такой выдающейся роли в событиях, вернее — их роль не была так заметна, как роль деятелей из буржуазии. Вот почему в прежних общих историях революционного периода, обыкновенно, когда говорилось о *третьем сословии*, то под ним понималась преимущественно одна буржуазия, хотя третьим сословием были все не-дворяне и не-духовные, словом вся нация, кроме двух привилегированных сословий — дворянства и духовенства.

Но роль крестьянства и рабочего класса, хоть и не столь заметная, была все же огромна. Их неудовлетворенные нужды легли тяжелым грузом на весы в тот момент, когда решалась судьба старого строя. Без понимания социального и экономического положения этих трудящихся классов немисливо понимание всего революционного периода французской истории. Предлагаемый небольшой очерк имеет целью в самом сжатом и общем виде ознакомить читателей с судьбами французских крестьян и рабочих,

как в последние годы старого режима, так и в период переворота, из которого вышла современная Франция. Конечно, останавливаться на подробностях чисто-политических событий революционной эпохи я считал при этом излишним: с этими событиями читатель может ознакомиться по любой из общих историй революции (лучше других по своей полноте и научности — переведенная на русский язык книга парижского профессора Олара «Политическая история французской революции»). Здесь же речь будет идти именно о тех сторонах исторической жизни Франции конца XVIII столетия, которые слишком часто, несмотря на огромную важность их, оставались в тени, и которыми наука лишь совсем недавно стала заниматься с подобающею обстоятельностью.

Е. Тарле.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Крестьянство в 1789 — 1799 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Крестьянский класс во Франции в конце XVIII столетия. — Различные категории крестьян. — Крестьянское землевладение и землепользование.

I.

1. Пред революцию 1789 года во Франции крепостное право в точном смысле слова почти не существовало, и, как общее правило, можно установить, что крестьяне, по крайней мере огромное большинство их, не принадлежало помещику и не было прикреплено к земле. Были и исключения. Так, монастырь св. Клавдия в Юре владел крепостными (*сервами*), которые находились лично в полной, пожизненной и наследственной, крепостной зависимости от монастыря. Числились крепостные и за короной. Несколько чаще попадалась другая, смягченная форма зависимости, так называемая *main morte* — «мертвая рука». Особенно часто попадалась эта форма крестьянской зависимости в восточной провинции Франции, в *Франшконте*. Крестьяне *мэнмортабли*, как они назывались, правда, не принадлежали своему господину, — но они, во-первых, не только не имели права без разрешения сеньера продать свою землю, но не могли и завещать имущества своим детям — так как оно должно было перейти к их господину (*сеньеру*); мало того, в некоторых местностях эти крестьяне не имели права жениться и выходить замуж без разрешения сеньера. Но, в общем, все-таки и французские крепостные (*сервы*), и полузависимые (*мэнмортабли*) вовсе не знали в XVIII столетии той полной неволи, в которой жили крепостные в Пруссии, в Польше, в Венгрии,

в России. И речи, напр., не могло быть о том, чтобы французского серва продавали, обменивали и т. п.

2. Но, не говоря уже о сервах, крепостных, — даже полузависимые мэнмортабли, отнюдь не прикрепленные к земле, а лишь ограниченные в правах собственности, — были во Франции конца XVIII столетия совершеннейшим исключением. Подавляющее большинство пользовалось лично свободой, не *они* были закрепощены помещикам, а их *земля*. И то, что называется «феодальным строем» накануне революции, характеризуется, именно, прежде всего закрепощением, несвободой *земли* и вытекавшими из этой несвободы отношениями.

Для того, чтобы дать себе вполне ясный отчет в этом факте, нужно хотя бы вкратце припомнить основные черты французской социальной истории. Феодализм, как он сложился во Франции во второй половине средних веков, был так сказать, двусторонним: феодал был в центре общественной лестницы, наверху был король, внизу были вассалы, крестьяне (вилланы, сервы), — и у феодала были свои права и привилегии, как относительно королевской власти, так и относительно живших на его земле крестьян, иными словами — права политические и права социальные. Усиление королевской власти, развитие денежного хозяйства и другие обстоятельства, которых я сейчас касаться не буду, надломил политическое значение феодалов уже в XIV—XV веках. Им приходилось смиряться пред монархом, в котором они видели противника, насильно отнимающего у них стародавние преимущества. В XVI веке, пользуясь общим замешательством, вызванным религиозными войнами и внешними осложнениями, феодалское дворянство сделало попытку восстановить прежнее свое политическое значение, но из этого ничего не вышло, и королевская власть оказалась не ослабленной а окрепшей в руках новой династии (Бурбонов). В первой половине XVIII столетия, при кардинале Ришелье, управлявшем Францией в царствование Людовика XIII, между мо-

нархической властью и дворянством устанавливаются отношения, которые уже не меняются вплоть до самой революции: дворянство окончательно отказывается от всяких мечтаний о самостоятельной политической роли в государстве, а монархическая власть отдает дворянству лучшие места при дворе, в бюрократии, в армии, выгоднейшие и значительнейшие должности по духовному ведомству (что тоже в очень серьезной степени зависело от правительства), и, наконец, поддерживает свою администрацию и судами притязания дворянства на землю.

Эти притязания и были теми *феодальными правами* (*droits féodaux*), которые вызвали столько жалоб и нареканий в течение всего XVIII столетия со стороны всех защитников поправных интересов непривилегированных сословий. Земельная собственность во Франции была двух родов: 1) свободная, полная и 2) несвободная, неполная. Полною земельною собственностью называлось ничем не ограниченное право владельца, хозяина, на принадлежавшую ему землю, — и такая собственность была исключением, попадалась редко, в Нарбоннской области, кое-где в Лотарингии, в Бургундии, кое-где на севере в Пикардии. Правилom, общим почти для всей Франции, была собственность несвободная (*феод, цензива*). Главная, коренная черта этой несвободной собственности заключается в том, что *собственник*, купивший землю или получивший ее по наследству и обрабатывающий эту землю или сдающий ее в аренду, обязан еще некоторыми платежами и повинностями пред другим лицом, пред *сеньером*, который имеет на эту же землю свои особые — сеньериальные или феодалские — права. *Nulle terre sans seigneur*, нет земли без сеньера, — таково было общее правило, почти повсеместно царившее во Франции*). Кто же такой был сеньер?

*) Несравненно реже попадались места, где царил другое правило: „*nul seigneur sans titre*“ и где от сеньера требовались письменные документы на действительное право собственности. Там крестьянская собственность была свободна.

Это был дворянин, который некогда владел или предки которого владели некогда данною областью. Он или его предки могли давным давно распродать почти всю (или даже и всю) эту область отдельными земельными участками, — и все-таки владельцы этих земельных участков навеки-вечные обязывались платить известные подати и исполнять известные повинности в пользу сеньера. Сеньеру при том незачем было предъявлять какие-либо документы или удостоверения: ему достаточно было доказать, что данная земельная собственность, принадлежащая теперь такому-то лицу, находится на той территории, которая некогда была подчинена его, сеньера, предкам (а доказать это всегда было нетрудно). Да если бы один сеньер и не мог этого доказать, все равно, владельцу земли было не легче, — тогда, значит, он обязан платить не этому, а другому, соседнему сеньеру, так как «нет земли без сеньера». Весьма часто, в данном округе проживал и сам сеньер, у него тут было и собственное поместье, и замок; но бывало и так, что у сеньера ни одного клочка земли уже не оставалось во всей данной местности, где некогда владеличествовали его предки, — и все-таки его сеньериальные права оставались в неприкосновенности, и все собственники данной местности должны были ему платить те или иные подати и поборы. Сам сеньер при этом мог проживать в Париже или на другом конце Франции, — это не мешало ему приезжать за поборами или посылать доверенное лицо. Собственники, владевшие при таких условиях землей, назывались обыкновенно *цензитариями*, а их земли — *цензивами*; такое название имели земли, зависящие от сеньера, в тех случаях, когда собственниками их являлись крестьяне или, вообще, лица податного состояния. Но случалось и так, что собственниками этих зависящих от сеньера земель были дворяне: тогда эти земли назывались *зависимыми феодами* (собственные поместья самих сеньеров назывались тоже феодами).

Таким образом, не только крестьяне-собственники несли

известные обязанности относительно сеньера, — но и все собственники вообще, — и всякая собственность (земельная) имела над собою двух господ: 1) собственника и 2) верховного господина — сеньера.

В чем же выражались тяготы, лежавшие на собственниках, и их обязанности касательно сеньера? Мы здесь встречаем с чрезвычайно пестрой картиною. не только в разных концах Франции, но, нередко, даже в одной и той же провинции сеньериальные права были чрезвычайно различны, и в одних местах она тяжело давила крестьян-собственников, в других были сравнительно легки. Главные формы феодальных податей и повинностей были таковы:

1. Так называемый *ценз*, известная сумма денег, которую ежегодно собственник земли платил сеньеру. Размеры этого ценза были в разных случаях разными.

2. Наследуя цензиву от родителей или кого-либо другого, новый собственник обязан был, во-первых, уплатить сеньеру некоторую (обыкновенно небольшую) сумму, а, во-вторых, на свой счет выправить все нужные бумаги и представить их сеньеру.

3. Продавая и покупая землю, продавец и покупатель обязаны были тоже уплатить сеньеру известную сумму денег, а также вручить ему на хранение купчую.

4. Нередко ценз, уплата деньгами, заменялся так называемым *шампаром*, т. е. уплатою натурой. Крестьянин-собственник, напр., обязан был отдавать $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{8}$, иногда даже $\frac{1}{4}$ жатвы.

5. Сеньер мог требовать, чтобы зависящие от него собственники мололи хлеб только на его мельнице, пекли хлеб только в принадлежащих ему печах, выжимали виноград, только пользуясь его точилом. Если ему казалось выгодным, он в самом деле устраивал мельницу, печь, помещение для выжимания виноградного сока — и, требуя в $\frac{1}{2}$ —2 раза больше с приходивших к нему крестьян, чем следовало бы, — наживался на этом своим исключительным

праве. Чтобы самому со всем этим не возиться, сеньер отдавал на откуп, в аренду свое право местному мельнику или пекарю; крестьянам и тут, конечно, приходилось переплачивать. Наконец, сеньер (особенно, когда у него самого в данной местности не было собственного имения) мог, просто, взимать регулярно особые поборы с крестьян за то, что они мелют хлеб или пекут его у себя дома, на своей мельнице, в своей печи. Несправедливость и неележность этих поборов особенно возмущала крестьян.

6. И это еще было не все. Сеньер часто взимал за проезд по дорогам, за пользование прудом, озером, рекою (за ловлю рыбы, сплав леса и т. п.), за устройство базаров и ярмарок и т. д.

7. Кое-где к перечисленным тяготам присоединялась и барщина: крестьяне-собственники работали несколько дней (5—10—12—15) в году на сеньера. Но барщина была в XVIII в. редким исключением. Можно было бы насчитать еще и еще подати и повинности, шедшие в пользу сеньера, но я ограничусь лишь названными, как наиболее распространенными. Крестьянин, сверх того, обязан был исполнять ряд униженных обрядов перед сеньером: почтительно его приветствовать при встречах, новобрачные кое-где до самых времен революции обязаны были целовать сеньера в голову и в руку по выходе из церкви — или откупаться от этого деньгами (таков был пережиток исчезнувшего «права первой ночи»); приходилось кое-где откупаться также от обязанности деревни по наряду и очереди бить палками по поверхности пруда, чтобы пугать лягушек, мешавших своим кваканьем сну сеньера, и т. п. Все эти мелочные, курьезные, но унижительные и сильно раздражавшие крестьян пережитки старины, так же, как и платежи и поборы, перечисленные выше, по верному замечанию одного историка, оттого так и казались возмутительными, что непонятно было, на каком основании *собственник*, целиком уплативший деньги за свою землю или получивший ее от отца, несет еще на себе... ряд

обязательств пред совершенно посторонним ему лицом, же получая взамен от этого лица ни малейшей выгоды и, вообще, не имея с ним никаких дел.

II.

Все это мы говорили о крестьянах-собственниках. Но кроме собственников были в деревне XVIII века и безземельные.

Сколько было собственников и сколько безземельных во французском крестьянстве XVIII столетия? Раньше думали, что безземельных было большинство, но в последнее время, под влиянием исследований русского ученого И. В. Лучицкого, этот взгляд сильно изменился. Правда, полного подсчета по всей Франции еще не сделано, но, насколько можно судить по исследованиям, произведенным в разных концах и во многих провинциях Франции, крестьянству принадлежала в последние десятилетия XVIII века огромная земельная площадь. В некоторых южных провинциях (напр., в Беарне) больше половины всей земли принадлежала крестьянам, приблизительно то же ($\frac{1}{2}$, немного менее $\frac{1}{2}$) мы видим в других южных провинциях — Лангедоке, Руссильоне, Гиени, в центре Франции — Лимузоне, Оверни и др. На севере эта крестьянская собственность была равна, повидимому, 30—35% всей земли; на северо-западе (особенно в Нормандии, Бретани, отчасти Пуату) — крестьяне владели 20—25% земли. Все это — средние цифры. Были такие приходы, где *вся* земля принадлежала крестьянам, были и такие, где крестьянам не принадлежало и $\frac{1}{5}$ общего количества земли.

Во всяком случае, по имеющимся цифрам, можно решительно утверждать, что крестьянское землевладение не только не было искоренено во Франции, но что едва ли в какой-либо другой стране Европы оно существовало в таких обширных размерах. Мало того, именно во второй половине XVIII столетия крестьянская собственность скорее

расширяется, чем сокращается. Таким образом, в руках крестьянства к началу революции оказываются громадные площади земли.

Теперь сам собою ставится дальнейший вопрос: как распределялись эти земли между крестьянами? Другими словами: сколько среди крестьян было собственников и сколько безземельных? Мы не будем тут останавливаться на различных категориях лично-свободных крестьян, на разных обозначениях, бывших в ходу и даже признанных законами, — по крайней мере, постоянно встречающихся в официальных актах. Из этих обозначений отметим только три: «землепашцы» (*laboureurs*), «поденщики» (*journaliers*) и «нищие» (*mendiants*). Не говоря уже о «нищих», самое название которых показывает, что у них не было никакого имущества, — «поденщики», в общем, оказывались гораздо менее обеспеченными землею, нежели «землепашцы». Но — все же было бы грубою ошибкою думать, что «поденщики» были сплошь безземельными: напротив, хотя процент безземельных в этой группе был больше, нежели в группе землепашцев, но и среди них земельные собственники были довольно обычным явлением. Что касается «землепашцев», — то они-то и были крестьянами-собственниками по преимуществу. Исследования до сих пор местности не дали примеров особенно крупных отдельных крестьянских имений, но позволяют сказать, что во французской деревне пред революцией существовало довольно сильное расслоение, и рядом с вполне обеспеченными, зажиточными собственниками жили полуобеспеченные и совсем ничего не имевшие люди. Однако, следует заметить вот что: так называемые «поденщики», обыкновенно, на самом деле вовсе не были батраками, работавшими за поденную плату. Во-первых, как только что сказано, и среди них были собственники, и вовсе не в виде исключения. А, во-вторых, они помогали своему малоземелью тем, что брали в аренду землю либо у сеньера, либо у кого-нибудь из буржуазных собственников, которые тоже во многих местностях

владели землею. Иногда они становились арендаторами-половниками, т. е. обязаны были половину урожая отдавать хозяину; гораздо реже они могли стать фермерами, т. е. такими арендаторами, которые вносили арендную плату деньгами, заключали более или менее долговременные контракты, нанимали сами рабочих и т. п. Фермером, более или менее зажиточным арендатором, мог стать человек, который, уже принимаясь за дело, располагал кое-какими средствами. Спасавшиеся от малоземелья «поденщики» чаще всего могли стать именно половниками, снимающими на год маленький участок, который и обрабатывали трудами рук своих и своей семьи.

Что касается «нищих» (*mendiants*), «бедных» (*pauvres*) — то под эти рубрики подводились крестьяне совсем нищему, вынужденные либо уходить в отхожие промыслы, либо наниматься в батраки, либо искать себе заработка в ремесленном и промышленном труде. Нужно заметить, что найти себе работу в поместьи в качестве батрака было не так-то легко: сельскохозяйственная культура стояла на довольно низком уровне развития. Большие имения встречались не часто, работы в них велись не интенсивно, крупные землевладельцы склонны были отдавать свои земли в аренду, оставляя для личного хозяйничанья лишь сравнительно небольшие части.

Бедняки крестьянского сословия, имевшие иногда усадьбу оседлость, иногда даже корову, но не имевшие земельного участка, а также «поденщики» особенно живо ощущали ту невзгоду, которая давала себя чувствовать даже и сравнительно более зажиточным землепашцам: сокращение, или, даже, исчезновение общинных угодий. Эти общинные угодья, прежде всего — пастбища, состоявшие с древних пор в пользовании всей деревни, — в XVIII веке самым безцеремонным образом обрабатывались сеньерами. Ничто не помогало: ни просьбы, ни угрозы, ни суды, неизменно стоявшие в земельных вопросах на стороне дворянства. Еще хорошо было, когда сеньер соглашался

забрать в личную свою собственность одну треть общинной земли и отказывался от претензий на остальные две трети. Сплошь и рядом бывало так, что сеньер, забравши себе после полюбовной сделки с крестьянами $\frac{1}{2}$ общинной земли, напускал в остальные $\frac{2}{2}$ арендаторов, с которыми крестьяне ничего не могли поделать. Захватывали сеньеры и леса, которые, как и пастбища, также сплошь и рядом считались в общем владении всей деревни. Крестьяне горько жаловались на эти захваты, но, обыкновенно, жалобы их ни к чему не приводили, кроме разорительных судебных издержек. У сеньера всегда почти была возможность доказать, что данные общинные угодья находились испокон веков в области, подвластной его предкам, а у крестьян сплошь и рядом не оказывалось никаких документов, которые бы доказывали их общее право на пользование данным пастбищем, данным лесом. Нужно еще сказать, что, споря и судясь с сеньером из-за этих общинных земель, крестьяне в XVIII столетии вовсе не дорожили тем, что эти земли находятся (или прежде находились) в общем пользовании всей деревни: напротив, они заводили весьма охотно речь о том, что, вернувши захваченную сеньером землю, хорошо бы ее разделить между односельчанами раз навсегда. Воспоминание о былых общинных порядках во Франции почти вовсе исчезло (только в виде редчайшего исключения кое-где в XVIII столетии сохранились общинные порядки при распределении пахотной земли), — крестьяне-собственники крепко держались за свою личную собственность, и, конечно, общность пользования пастбищем или лесом была пережитком старых, давно прошедших, времен.

Так жила французская деревня, где, рядом с зажиточными, были мало обеспеченные и вовсе нищие люди, и где все они в той или иной степени чувствовали на себе тяжесть, унижительность и нелепость прав сеньера на их собственную землю; где все они так или иначе страдали от захвата сеньером общинных угодий, где все они

ощущали ежедневно тягостное при участие посторонней силы. Ведь, помимо всего, сеньер мог отравить им существование хотя бы одним только правом разводить в огромнейших количествах голубей, пожививших крестьянским хлебом, или правом невозбранно охотиться на крестьянской земле, вытаптывая посевы, или еще каким-либо из многочисленных своих «прав».

Посмотрим теперь, каково было положение крестьян пред лицом государства и, прежде всего, пред лицом сборщиков государственных податей.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Государственные налоги и повинности, лежавшие на крестьянах в XVIII веке. — Общее материальное и культурное состояние крестьянства перед революцией.

I.

Тот самый кардинал Ришелье, который в первом половине XVII столетия изложил француженкам весьма однаждымысленно, что народу в свое не следует быть вполне зажиточным, так как он тогда больше склонен повиноваться. Можно было бы подметить, что вся наша старая система была нарочно так построена во Франции при старом строе, чтобы не дать крестьянину стать разбогатеть, чтобы народу не было слишком хорошо, и в точности вразумлял Ришелье. На самом деле конечно, не потому и легла всякое своею тяжестью над ним и на крестьянство. Были другие причины и причины совсем уж потаенные.

1. Прежде всего это было то, что, когда всякая власть во Франции кончилась с введением в 1614 году непрерывного единения с «большим государством», т. е. с буржуазией и крестьянством и в политическом — то глухон, то открытой — борьбе против феодалов и их потомков. Когда в XVI столетии на еще собою злились тогда и тогда с сеньерами (генеральными инстанциями) звучали речи о свободе, правде

ваши и т. п., — то эти речи произносили именно дворяне, стремившиеся к восстановлению своего бывшего политического могущества. Как уже сказано, в первой половине XVII века, при Ришелье, дворянство как бы отказывается от своих политических претензий, но зато и государственная власть не перестает тех пор поддерживать все притязания дворянства на первое место среди подданных и оказывать исключительное внимание к сословным дворянским интересам. Мы уже видели, что очень важным проявлением этой политики правительства, проявлением благодетельным для дворянства и вредным для крестьян, была поддержка консервативных прав на землю. Другим проявлением той же политики было почти полное фактическое изъятие дворянства от несения государственных налогов и повинностей. Путем особых ежегодных взносов от всего духовного сословия, духовенство также избавлялось от несения налогового бремени, таким образом, только так называемые *третье сословие* (т. е. весь народ без дворянства и духовенства) являлись сословием податным. А налоговое бремя было тяжелое; финансы французского королевства были в XVIII веке в чрезвычайно запущенном состоянии; отсутствие правильно организованного контроля приводило к расхищению казны; войны стоили чрезвычайно дорого, двор жил с неслыханною роскошью; для поддержки обедневших дворянских родов издавались специальные, ненужные государству, должности, на которые назначались те или иные представители таких дворянских семейств; королю сплошь и рядом (особенно в управление Колонна, в 1780-х годах) сбывались в придорог разоренные дворянские имения, которые уже не приносили никакого дохода. Все эти и другие подобные расходы должны были покрываться подачами с податного населения и некоторыми другими доходами, но имевшими такого большого значения. Содержание войска, государственной администрации, все обыкновенные расходы государства росли гораздо быстрее, нежели производительные силы страны, расходы чрезвычайно

производилось покрывалось иностранными займами, которые заключались с большим трудом под высокие проценты. И уплата процентов ложилась новой тяжестью на плательщиков податей. И еще нужно пришить во внимание следующее: хотя податным классом было не только крестьянство, но и буржуазия, и, вообще, городское население, не только дворянство и духовенство, но и платное бремя ложилось гораздо тяжелее именно на деревню, а не на город. Еще городские слои несознательно были больше на учете, да и оказывались платежеспособнее, но городская беднота довольно легко и часто уклонялась от уплаты бы то ни было платежей, — так что во французских документах XVIII столетия мы неоднократно приходимся встречать указания на этот факт (даже есть сведения о том, что где бедняки переходят иной раз в город — чтобы избавиться от податей). Слишком ли мала и численность и неповоротлива была городская полиция, были ли тут еще какие-нибудь другие причины — неизвестно: факт только несомненный, что прежде всего и больше всего именно деревня была в полном распоряжении властей, деревня, а не город, испытывала на себе всю тяготу обложения.

Посмотрим теперь, какие подати обременяли французское крестьянство — в первую голову; укажем лишь самые главные.

1. Прежде всего нужно назвать *талию*, которую дворяне не платили. Талией назывался прямой налог, который в одних провинциях платился с земли, а в других — вообще со всего имущества, которым обладал человек, точнее со всего его *дохода*, который всегда легче было исчислить, нежели имущество. К этой *тали* со времени Людовика XIV прибавился новый налог — *капитация*, т. е. будто бы *поголовная*, подушная подать. На первых порах она, действительно, взыскивалась и с привилегированных, но очень скоро многие из них сумели и от этой подати отделаться. Иногда пускались в ход хитрости и

увертки, а иногда, просто, шлоя дворянши целыми годами на глазах у всех, не платя казначей, и ничего с ними никто поделать не мог. Впрочем, и, вообще, эта казначей для дворян все уменьшалась и уменьшалась и в 95 лет своего существования она сократилась $\frac{1}{6}$ своей первоначальной величины, а для крестьян, за то же время, увеличилась в *десять раз*. В том же время и казначей, еще и третий налог — в $\frac{1}{12}$ часть до ода (так называли *vingtième*), но дворяне и этот налог уплачивали столь же неаккуратно, как и казначей. Все те же прямых налога почти всею тяжестью падали на крестьянство.

2. Тяжко страдало крестьянство и от налога на соль. Налог на соль был единственным косвенным налогом, который, в том деле, жестоко отрывался на французской деревне. Все другие предметы обложения были мало доступны крестьянству, да и не по карману большинству деревенских обывателей. Но без чего предмет первой необходимости, как соль, обойтись было, тем паче, невозможно.

Однако, не надеясь даже на это, французская корона делала потребление соли *обязательным*. В явном виде *обязаны* купить такое количество соли, причем это записывалось в особую книгу и сборщики ревностно следили, чтобы исполнил этот долг. Купленная обязательная соль могла употребиться *только* при варке ежедневной пищи, но отнюдь не на соленые рыбы, мяса и т. п. и проч. Такие заказанные порции крестьянину, который осмел был нарушить это предписание. Если же ему удалось было уклониться от исполнения предписания, то он должен был купить другой, повешенный налог соли. Выделка соли была монополией государства, и правительство чисто откупало ее от на откуп. Собственно налог действовал не столько, по откупным предписаниям, сколько по равным причинам от него освобождены. Но таких освобождений было меньшинство. Вследствие этого, налог на соль была в *десять, в двадцать, в тридцать* раз больше, чем мог бы быть, если бы налог на соль был. Всякие попытки добыть себе соль контрабандным путем выслежи-

вались весьма тщательно и карались с чрезвычайною жестокостью. При отягчающих вину обстоятельствах виновный мог очутиться на пожизненной каторге. Особые надсмотрщики и дозорщики рыскали по деревне, делали внезапные обыски у крестьян, ища контрабандной соли, арестовывая тут же виновных. Ужасы, сопряженные с недостатком соли (вследствие ее дороговизны) и с этими посланными обысками, надолго остались одним из мрачайших воспоминаний в памяти французского народа.

3. Были в старой Франции и еще ко вичные налоги (так называемые *alides*), но они меньше затрагивали интересы крестьян, чем соляной налог. (Да соляной налог не только историкам, но и юристам известны и признаются ко вичными, а называют его прямым, основываясь на том, что каждый *обязан* был купить известное количество соли, по назначенной правительством цене). К косвенным налогам относится, напр., налог на спиртные напитки и т. п. и эти косвенные налоги одважно представляли на откуп обществу *фискалам*, в которых немалое участие составлялось прямо эксплуатировать ту или иную провинцию.

Налоговое бремя есть еще присоединить к нему «десятина» в пользу церкви, такая нагрузка, было очень тяжело. В некоторых провинциях в конце XVIII века, по утверждению современников, бывало так, что крестьянин платил в виде налогов до $\frac{2}{3}$ своего дохода; еще чаще встречалось утверждение, что $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ дохода должна идти на покрытие государственных расходов. Неужели же ухудшилось еще вследствие вероятных пугачицы, наивышней в административной страны. Человек не мог заранее знать, сколько он платит в этом году потребую в качестве налога. Как и так и, двадцать, руб. — столько именно составил сразу, купить «обязательной» соли — и сколько, вообще, соль будет стоить. Налоговое бремя резко менялось, смотря по местностям, по провинциям; даже в одной и той же провинции эти размеры весьма часто были даже не одинаковыми. Способы взыскания податей тоже были очень раз-

вообразны и иногда менялись чуть не ежегодно. Все это вносило в жизнь крестьянина много тревоги, огорчений, опасений, часто отрывало от дела в горячую пору, заставляло совершать поездки к сборщикам, умолять об отсрочках и т. п. Самая неопределенность податей и обычай сдавать многие (и важнейшие) из них на откуп еще осложняли эту путаницу и приносили отенок частной эксплуатации и алчного стремления к наживе: крестьяне должны были дать столько, чтобы откупщики вернули не только сумму, уже внесенную ими в казну, но и сами обогатились на их, крестьянский, счет. А казна бывала часто в таком положении, что, нуждаясь немедленно в крупной сумме, отдавала на откуп финансистам ту или иную подать на 2—3—4 года вперед! И еще кроме всех этих платежей в казну — государство обременяло крестьян кое-какими натуральными повинностями, вроде дорожной, состоявшей в том, что крестьяне обязаны были чинить и исправлять проезжие дороги.

Подведем теперь общий итог. 1) Французские крестьяне XVIII века — отнюдь не безземельны сплошь, — напротив, этому сословию, в общем, принадлежит очень крупная земельная собственность, и, хотя нельзя установить точно, сколько во Франции было крестьян-собственников, но, что они были и в большом количестве, — не подлежит сомнению. 2) Тем не менее, эти крестьяне-собственники были в далеко не обеспеченном положении: огромные государственные налоги сильно угнетали их; кроме этих налогов, имевших в их глазах разумный смысл, несмотря на всю обременительность, крестьяне-собственники уплачивали еще ряд сеньериальных податей и повинностей, не имевших уж с их точки зрения ни малейшего смысла и основанных исключительно на шедших из глубины веков притязаниях дворянства на всю землю. Закрепощение людей во Франции XVIII века — исключительное исключение, но закрепощение земель — общее правило. 3) Крестьяне мало-

земельные и, особенно, безземельные мало ощущали на себе зависимость от сеньера или даже вовсе ее не ощущали, — именно потому, что земли у них было мало или вовсе ее не было; но зато, арендуя чужой участок и платя за него половину урожая, — или определенную сумму денег, — они, вообще, были людьми маломощными, а государственные налоги должны были платить почти в тех же размерах, как и их более богатые односельчане, так как сборщики мало считались с показаниями крестьян насчет их доходов, а, просто, распределяли положенную сумму так, чтобы побольше семейств отвечали за нее пред казною (не говоря уже о том, что, напр., соляной налог был репрессивно для всех одинаков). 4) Общинные земли были в конце XVIII века либо уже забраны сеньером, либо он постепенно отхватывал один их участок за другим. Судиться из-за этих земель, — да и, вообще, судиться, — с сеньером было бесполезно.

Немудрено, что общая картина французской деревни при старом режиме являла собою зрелище безотрадное! в этом отношении сходятся между собою и наблюдатели, писавшие в XVIII веке, и наблюдатели, видевшие Францию в XVIII веке. Крестьяне — это какие-то перепачканные, копошащиеся в земле животные, прячущиеся на ночь в свои норы, где едят черный хлеб и корни, — так описывает крестьян Лабрюйер, наблюдавший их в XVIII в. Маршал Вобан, исколесивший при Людовике XIV всю Францию, тоже был поражен нищетою крестьян, их голодом, разоренностью деревень. От начала XVIII столетия до начала революции, значит меньше, нежели за 90 лет, Франция около 30 раз переживала в больших или меньших размерах голодные года, — и это немудрено, так как земледельческие работы велись очень первобытными способами, при помощи самых старинных первобытных орудий. С одной стороны, нищета крестьян препятствовала им заготовить лучший инвентарь, а с другой стороны, и сельскохозяйственные орудия были дурны; собственной железодельной

промышленности во Франции XVIII века не было в достаточных размерах, и металлические изделия вообще — ввозились из-за границы, из Англии и западной Германии, с одной стороны, из Австрии (через Швейцарию), с другой стороны. Конечно, они были слишком дороги для крестьянского обихода. Во время голодовок на сцену появлялись скупщики хлеба, которые, приобретя запасы его, продавали втроедорога. Мясо было редкостью на столе крестьянина; по утверждению одного современника, на двадцать человек крестьян приходился один, для которого мясо не было редчайшим лакомством. Хлеб, которым питалось большинство крестьян, был чрезвычайно низкого качества; тот, что был получше, шел в продажу, — точно также и огородные овощи, продаваемые на ближайшем рынке, были, часто, серьезным подспорьем в бюджете крестьянина, но для собственного пропитания своего и своей семьи он не всегда мог пользоваться своим огородом. Недостаточность и дурные качества пищи, недостаток соли в нужных количествах — губительно отзывались на здоровье крестьянской семьи. Особенно страдали в некоторых местностях имели прямо ужасный вид деревенские женщины и дети.

Страшное развитие нищенства в деревне XVIII столетия беспокоило даже людей, вполне равнодушных к страданиям народа, но с тревогою видевших, как подтачиваются материальные и физические силы сословия, своими трудами поддерживавшего все государство.

Довольно значительным подспорьем кое-где был промышленный труд. Крестьяне не только пряли и ткали шерстяную и полотняную одежду для себя, но очень часто и, именно, там, где земледелие их кормило плохо, брали работу на заказ. Крестьяне немощие или маломощие с гораздо большею охотою брались за промышленный труд, чем за сельскохозяйственный наемный труд, и это немудрено: батрак, сельскохозяйственный рабочий в среднем зарабатывал гораздо меньше, чем тот, который работал по заказу над выделкою шерстяных или полотняных материй. Даже

на севере, где плата была низка, пряжа-крестьянка иногда зарабатывала до 40 сантимов в день, ткач-крестьянин — около ливра в день (сорок сантимов, — приблизительно 15 коп., 1 ливр — 38—40 коп.; при этом нужно заметить, что покупательная сила денег была, в среднем, в $2\frac{1}{2}$ —3 раза больше, чем теперь, следовательно, 15 коп. равнялась нынешним 35—45 коп.*), а 40 коп. равнялись по своему значению нынешним — рублю или 1 руб. 20 коп.). Впрочем, об этих рабочих из крестьян я буду говорить подробнее во второй части этой книги. Здесь скажу только, что были местности и были такие годы, когда промышленный труд делался уже не подсобным, а *главным* заработком населения деревни. Но, разумеется, в глухих углах, далеких от городских центров, никаких правильных заработков такого рода у крестьян быть не могло.

Нищие попадались на глаза в деревне, в городе, на больших дорогах. Считалось лет за пятнадцать до революции, что нищих во Франции (на 24—25 миллионов населения страны) от 1 до $1\frac{1}{2}$ миллионов человек, — и из этой цифры большинство, по словам современников, приходилось именно на деревню.

II.

При таком положении вещей, когда даже крестьяне-собственники, задавленные государственным и сенъериальным обложением, лишенные сносно сельскохозяйственного инвентаря, обрабатывавшие землю первобытным способом, являлись, в большинстве, элементом малообеспеченным, не говоря уже о других беднейших слоях деревенского населения, не следует удивляться общему низкому культурному уровню старой деревни. Школа в деревне отсутствовала почти вовсе на востоке и севере, и совершенно отсутствовала на юге, западе и в центре страны. Государство решительно ни одного сантима не ассигновы-

* При этих сравнениях везде в тексте разумеется покупательная сила русских денег до войны 1914 г.

вало на первоначальное народное образование. Если где-где местный священник или кто-нибудь из церковного причта обнаруживал желание учить детей грамоте или молитвам, он мог, конечно, делать это — бесплатно, так как надеяться на вознаграждение со стороны читателей было невозможно. Грамотные люди в крестьянстве попадались, как редчайшее исключение; церковная служба, проводимая на латинском языке, была в деревне в точности никому непонятна; грубейшие суеверия царяли в этой среде, суеверия, крепко державшиеся чуть ли тысячелетие, от самых глухих времен средневековья, а на западе, на побережье Атлантического океана, были еще живы предания и кое-какие верования языческих времен. Случаи избиения, изуродования и даже убийств подстрекаемых ведьм и колдунов попадаются в летописях XVIII века во Франции, — и не только в начале, но и в конце его. Правильная медицинская помощь совершенно отсутствовала в деревне: зато процветали знахари и колдовские приемы лечения.

Воззрения крестьян на социально-политические условия, в которых они жили, — насколько эти воззрения можно установить, — сводились к следующему: притеснения и эксплуатацию крестьянина испытывает от дворян, «сеньюров», — и от поддерживающих их во всем местных властей; король всегда на стороне крестьян, но до его сведения не доходит истина о положении дел. Это воззрение еще в царствование Людовика XIV было широко распространено. Непопулярность Людовика XIV в последние годы его царствования, по видимому, несколько не пошатнула этой веры в монархическую власть. Каждый раз — и при вступлении в самостоятельное управление Людовика XV («Возлюбленного», le Bien-aimé) и Людовика XVI («Желанного», le Désiré) в народе проносились самые благоприятные слухи и высказывались восторженные ожидания. Можно, как твердый и непреложный факт, установить следующее: французский народ и, прежде всего, народ деревень оставался вплоть до начала революции (и даже, где

увидим, в первые годы революции) решительно монархически-настроенным народом; королевская власть, в самом деле, будила благовоительные чувства, удерживавшие юг далекой старины, когда король был врагом феодалов, а потому не мог не быть, по народной логике, другом убитых и бедняков. «Король добр, но его обманывают окружающие», эта формула дожила до революции, — и далеко не сразу исчезла.

Обратимся теперь к рассмотрению тех жалоб и пожеланий, которые накопились за долгие годы и были высказаны крестьянами в 1788—1789 г.г., при выборах депутатов в генеральные штаты. Мы увидим, что же именно хотели довести крестьяне до сведения короля, заслоняемого от них до той поры, как они думали, дворянами и царедворцами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Крестьянский вопрос в 1789 г. — Крестьянские налоги 1789 г. — Развитие феодального строя. — Крестьянство в эпоху Учредительного и Законодательного собраний

I.

Французское крестьянство XVII—XVIII в.в., в общем, долорно несло бремя, возложенное на него. Небольшие, там и сям вспыхивавшие, волнения подавлялись местными властями без всякого труда. Возникали же эти волнения (особенно в XVIII столетии) не в виде протеста против тех общих и постоянных зол и неурядиц крестьянской жизни, которые были связаны с несправедливостью сеньориального строя или податной системы, а больше в связи с обостренным голодом в той или иной местности, в годы неурожая. Таких мелких «бунтов» и вспышек, — иногда с разграблением хлебных складов, иногда с нападением на эскорт, сопровождавший хлебный обоз, иногда со своего рода вооруженными демонстрациями против местных властей, якобы срывающих хлеб, — можно различать в

XVIII век несколько десятилетий. Но властям редко даже приходилось пускаться в ход войска для усмирения этих беспорядков: достаточно было, обыкновенно, по идейским сил, даже в самом скромном количестве, для прекращения волнений. Еще при Людовике XI, иногда волнения возникали в связи с увеличением налогов при Людовиках XV и XVI эта причина уже не играет той роли, — неурожай и голодовки становятся главным элементом брожения.

Если на положение крестьянства было в XVIII веке, особенно во второй его половине, обращено серьезное внимание в экономической литературе и, отчасти, в празничных кругах общества, то это произошло не потому, что только что упомянутые крестьянские беспорядки сами по себе могли кого-либо серьезно испугать. Можно смело сказать, что, если исключить один-два случая (1747, 1775 г.г.), — никто из высшего общества и, просто, из образованных людей тогдашней Франции не обращал почти никакого внимания на приходившие кое-когда слухи о тех или иных местных крестьянских волнениях. Если все-таки крестьянский вопрос стал возбуждать и тревогу, и привлекать к себе пристальное внимание еще за 35—40 лет до революции, то причина здесь была иная.

Тревога стала возникать не потому, что слишком тяжело было положение крестьян (хотя об их почти безвыходном положении писали еще в последние двадцать лет царствования Людовика XVI — сначала Буагильбер, потом Вобан), — но потому, что явственно стала обозначаться опасность для экономической самостоятельности Франции, для финансового положения страны, даже для материальной обеспеченности высших слоев общества. Эта опасность проистекала не только от того, что сельское хозяйство оказалось в глубоком упадке, что земледелие было совершенно бессильно извлечь из богатейшей почвы даже малую долю возможных ценностей, но и от того, что, как было ясно понимающим людям, немисливо было надеяться на какой-либо прогресс в экономической жизни деревни,

пока существующий сеньориальный и государственно-податный гнет тяготеег на крестьянском населении, лишает земледельцев всякой бодрости, всякого интереса к улучшениям, всякой возможности обзавестись нужным инвентарем. Экономисты, выступившие с начала 1750-х годов с проповедью реформ (так называемые *физиократы*), вообще не были революционерами, желавшими насильственного переворота, изменения образа правления и т. п. И глава этой школы Франсуа Кенэ (врач короля Людовика XV), и его сподвижники и последователи склонялись, например, к признанию преимуществ неограниченной монархической власти и осуществление предлагаемых реформ ставили в зависимость, именно, от всеблагой воли короля. Но самые реформы, предлагавшиеся ими, были прямо направлены против дворянства, с одной стороны, и против существовавшего податного обложения, с другой стороны.

Физиократы видели причины недуга, разбуждающего экономическую мощь Франции, во-первых, в том, что государство и общество недостаточно проникнуты сознанием первенствующего значения *земледелия*, единственно-производительного, по их мнению, труда — пред торговлей и промышленностью, — во-вторых, в тех путях, которые лежали на земле, в том ограниченном, условном праве собственности, которое существовало во Франции вследствие признания *сеньориальных* прав на землю. Полное уничтожение старых бы то ни было сеньориальных прав и полное изменение системы государственных налогов и повинностей, причем налоги должны быть распространены на *все* владельческие земли без всякого изъятия, т. е. и на дворян, и на духовенство, а не на одно только третье сословие, — таковы были, между прочим, требования физиократов. Если бы эти требования были исполнены, конечно, в жизни крестьянства наступил бы переворот, который имел бы огромные и блаженные последствия. Физиократы не о крестьянах заботились, но о поднятии производительности земледельческого труда, — тем не менее, от осуществления их

реформы крестьяне прежде всего выиграли бы. Однако, даже и малую долю преобразований физикралам не удалось осуществить.

Был один момент, когда, казалось, французская государственная власть решилась кое-что сделать для податных сословий. В 1774 году умер старый король Людовик XV, и на престол взошел его внук, Людовик XVI. Один из видных теоретиков физикральной школы Тюрго, был почти немедленно призван к власти и сделан генеральным контролером. Это был пост, соответствующий министру финансов, с тою только разницей, что тогдашний французский генеральный контролер имел очень большое влияние и на дела всех других ведомств. Тюрго затеял было ряд реформ, из которых одна особенно олежно касалась крестьянского класса: именно, отмену той повинности крестьян, которая состояла в обязанности их чинить и поправлять проезжие дороги. Крестьяне обязаны были по несколько дней в году выходить на эти работы со своими орудиями и работать по исправлению дороги, где им укажут. Тюрго решил уничтожить эту повинность и взамен нее ввести новый дорожный налог, которым облачивали бы все, в том числе и привилегированные сословия, а не одни крестьяне. Тюрго во всех своих начинаниях натолкнулся однако на упорное сопротивление со стороны дворянства и в частности, со стороны придворных кругов. Он вынужден был (в 1776 г.) уйти в отставку, а все его начинания были почти тотчас же съедены к нулю. Отставка Тюрго имела громадное значение: она ясно показала, что государственная власть, как только захочет пойти по пути реформ, неминуемо натолкнется на неодолимые препятствия со стороны тех, кому всякие реформы, всякие изменения существующего строя невыгодны, т. е. со стороны привилегированных. Еще, правда, в министерство Неккера (1777—1781 г.г.) была сделана попытка улучшить положение хоть одной небольшой группы крестьянского класса, — крепостные в тех немногих местностях, где они числились за короною.

были освобождены. Но Неккер не осмелился даже распространить эту меру на всю (человечно, как мы уже заметили выше, ничтожную) часть крестьянства, находившуюся в крепостной зависимости. Нечего и говорить, что он не решился затронуть основное зло крестьянской жизни — сенъериальные права и тяжесть несправедливого государственного податного обложения. В 1781 году и Неккер, заявивший себя гораздо менее смелым реформатором, нежели Тюрго, но все же в конце концов возбудивший против себя придворные круги, должен был уйти.

Тогда начался тот последний предреволюционный период царствования Людовика XVI, который был ознаменован необычайным усилением дворянского влияния при дворе и, сообразно с этим, усилением феодальной реакции в стране. Этот период начинается весною 1781 года, когда ушел Неккер, и продолжается, если не до мая 1789 года, когда собрались Генеральные Штаты, то, приблизительно, до начала осени 1788 года, когда Неккер снова был призван к делам. Дворянское сословие бдительно охраняло свои интересы: если оно так проявляло юрго — т. е. больше всего, именно за отмену дорожной повинности и введение всеобщего налога на и поправление дорог — то, конечно не потому, что этот налог казался дворянам обременительным (он был ничтожен), но именно потому, что это скромное, на первый взгляд, начинание грозило нанести тяжкий удар самому принципу неравенства, грозило пробить брешь в твердые дворянские привилегии. Избавившись от Тюрго, избавившись и от Неккера (которого она и прочее, несравненно менее боялись), дворянские круги окружавшие двор оказались господами положения. И вот, начинается, именно, в эти последние предреволюционные годы деятельнейшее укрепление феодальных позиций. Вот что пишет лучший французский историк этого периода... С 1781 до 1789 года в феодальном мире замечается необычное движение. Во всех концах Франции владельцы проверяли свои документы, возобновляли свои поземельные

росписи, вынимали из-под спуда дочтовые обязательства, от которых их предшественники имели благоразумие отказаться, придумывали новые, старались сломить сопротивление своих должников и затевали с ними бесконечные процессы и беспощадную борьбу... Стремление восстановить старинные права, уже вышедшие из употребления, и отказываться от благоразумной снисходительности охватывает всех королевских чиновников. Каждый раз, как только им представляется случай идти по стопам феодальных владельцев, они спешат им воспользоваться, обнаруживая при этом рвение, достойное лучшего употребления»^{*)}. А с другой стороны, именно, в эти годы дворянство самым откровенным образом пускало в ход все средства, чтобы совсем свести к нулю даже те немногие налоги которые, по закону, оно должно было платить. Всеми правдами и неправдами дворяне устраивали так, чтобы не попасть в местные списки плательщиков двадцатинны (vingtième) и т. п.; но так как в это же время финансы королевства переживали жестокий кризис и правительство на в таком случае не желало и не могло соглашаться свои предположения по части доходов, то естественно, что неплатящее дворянство сословия приходилось уплачивать крестьянству, как и прежде покорному.

Когда под влиянием, прежде всего, разраставшегося финансового кризиса правительство, наконец, объявило о предстоящем созыве представителей сословия («Генеральных Штатов»), не созывавшихся уже 174 года, то шумели и волновались (с лета 1783 г., когда окончательное решение созыва), печатали сотни брошюр и полемизировали между собою собственно, представителю двух лагерей реакционно-дворянского и оппозиционно-буржуазного. Первые стояли за полное сохранение своих привилегий, вторые — за уравнение всех сословий в правах и за приобщение народных

представителей к делам правления. Но крестьяне молчали. Брошюр они не писали и не печатали, и их пока не было слышно. И о них, об интересах крестьянства, вспоминали в эти месяцы, с осени 1788 г. до весны 1789 г. в появлявшихся брошюрах сравнительно редко и бегло.

Зато крестьяне заговорили о себе в своих *наказах*. Наказами назывались в старой Франции записки о местных нуждах и «жалобах», как бы инструкции, даваемые избирателями тому депутату, которого они выбирали. В прежние века эти наказания привозились депутатами на собрание, сводились воедино, так что каждое сословие вырабатывало свой общий наказ и все три таких наказа представлялись королю, который мог, если желал, отвести на эти пожелания изданием тех или иных новых узаконений. Иногда из наказов всех трех сословий вырабатывался один общины, как бы от лица всей страны. Было ясно, что на этот раз Генеральные Штаты собираются вовсе не для того только, чтобы выработать подобные общие наказания и разъехаться по домам; напротив, и общество, и само правительство вполне определенно знали, что депутаты намерены предпринять в обширных размерах реформаторскую работу. Но наказания и на этот раз писались каждому депутату его избирателями. Эти наказания во многих отношениях весьма любопытны. Правда, случалось и так, что наказания списывались с заготовленного образца и т. п., но все же, в общем, они верно отражают господствовавшее в момент выборов общественное настроение.

Нас тут, конечно, будут интересовать только крестьянские наказания. За долгие годы впервые крестьяне получили возможность высказаться по набравшим вопросам своей жизни. Борьбы были не прямые, а по очень сложной системе, и, например, для крестьян эти выборы являлись в лучшем случае — трехстепенными. Но к выбору первых выборщиков допускались почти все крестьяне, имевшие устойчивую оседлость и внесенные в списки плательщиков налогов, так что почти вся крестьянская масса в той или иной

^{*)} Шерв Падение старого режима, перевод, под ред. Е. В. Тарле Т. I, стр. 57 (СПб. 1907)

чаще бичуется в наказах, где, главным образом, сказались уже влияния городов, городской буржуазии. Нужно отметить еще, что, за редчайшими исключениями, в деревенских наказах проявляется чувство большой почтительности, даже благоговения к королю. Не только священна особа монарха, но крестьяне противопоставляют народ и короля, «отца народа», — сеньерам и представителям судебной и административной власти, с которыми им приходится постоянно считаться и которые их обижают.

Вот в немногих словах, то существеннейшее, что нам интересно отметить в наказах 1789 года, в той или иной мере исходящих от крестьян. Я не привожу выдержек из этих наказов потому, что они редактировались, составлялись, писались не крестьянами и, если все-таки, как выше сказано, самое содержание их должно было гармонировать с настроением крестьян, то уж, во всяком случае, внешняя форма выражения мыслей — некрестьянская, и приведение выдержек поэтому было бы неуместно.

III

Настроение деревни выразилось гораздо яснее, нежели в наказах, в тех событиях, которые разразились в 1789 г., особенно с середины июля, после того, как по стране распространилась весть о взятии Бастилии. Разом, во всех концах Франции начались обширные крестьянские волнения. Во главе восставших деревень находились крестьяне-собственники, самые зажиточные элементы деревенского населения. В Лангедоке, Дофинэ, Бретани, Турэни, Шампани, Гаскони, Эльзасе и т. д. — толпы крестьян нападают на замки и, *прежде всего*, требуют, чтобы им были выданы все сеньериальные документы, все поземельные книги и записи, на основании которых производился сбор феодальных повинностей. Иногда, если это требование исполнялось, крестьяне, устроивши торжественное сожжение полученных документов, уезжали. В случае сопротивления — беспощадно

жгли замок. Сеньеры в ужасе бежали в города, спасая жизнь. Власти, совершенно растерявшись, не зная, что им предпринять и от какого начальства получать приказания (так как старое правительство было фактически совсем уничтожено после взятия Бастилии, а новое еще только начинало организовываться), — бездействовали; да и войска, бывшие у них под рукою, вели себя крайне ненадежно.

По Франции распространялась паника, всюду говорили о полчищах разбойников, которые будто бы выступили на повсеместный грабеж. Следует отметить такое любопытное явление: в то самое время, когда крестьяне выступали целыми отрядами против замков, они в некоторых местах должны были часть своих сил оставлять в деревне и на полях, чтобы ограждать собственность от своих же безземельных односельчан. Экономическое и социальное расслоение французской деревни как нельзя более ярко сказалось в этом факте. Аграрные беспорядки бушевали по всей Франции уже три недели, — и никакой надежды на прекращение их не предвиделось. И тогда-то Национальное Собрание решило, в качестве единственной политической силы, оставшейся в государстве, начать действовать.

Собственно Национальное Собрание с самого начала своей деятельности избегало обсуждения вопроса о сеньериальном режиме, и некоторые исследователи прямо подчеркивают тот факт, что крестьянские беспорядки вспыхнули не 5-го мая, когда собрались Генеральные Штаты, не 17 июня, когда они объявили себя Национальным Собранием, а только во второй половине июля, после долгого тщетного ожидания, что депутаты заговорят об отмене сеньериальных прав. Эта отмена требовалась в массе наказов, — и, однако, Собрание не ставило вопроса на обсуждение. Крестьян среди депутатов было очень мало, а лица, даже очень оппозиционно и решительно настроенные в Собрании, были поглощены — сначала борьбою по вопросу о способе заседаний и голосований (поголовном или пословном),

а потом вопросами конституционного характера, выработкою и проведенном декларации прав и т. п. II, кроме того, вопрос казался многим в высшей степени острым и деликатным: уничтожить сеньериальные права — не значило ли покунуться, вообще, на право собственности? Так ставили вопрос некоторые. А Национальное Собрание было, (как и все последующие собрания революционной эпохи — и Законодательное собрание, и Конвент, и Совет пятисот в эпоху директории) проникнуто глубоким уважением к принципу частной собственности и решительно не хотело чем бы то ни было способствовать колебанию этого принципа. Хотя, правда, и весною уже кое-где происходило брожение и крестьяне отказывались платить феодальные повинности, — но только после 2½ месяцев ожидания беспорядки приняли насильственный характер и сделались всеобщими.

Первым движением Собрания, когда оно под влиянием тревожнейших известий, непрерывно приходивших из провинции, решило вмешаться, было обратиться к крестьянству с воззванием, в котором указывалось, что Собрание не может пока заняться рассмотрением каких бы то ни было вопросов, кроме чисто конституционных и общегосударственных (а вопрос о феодальных правах — есть вопрос частный), и что крестьяне не имеют права прекратить уплату сеньериальных податей, пока относительно этого не будет постановлено в особом решении. Проект этого обращения к населению должен был быть окончательно обсужден в вечернем заседании 4 августа.

Это знаменитое заседание 4 августа 1789 года преемими историками революции часто характеризовалось, как самый светлый момент всей бурной революционной эпохи, как момент порыва братства и великодушия, внезапно охвативших представителей привилегированных сословий и заставивших их добровольно принести на алтарь отечества свои классовые интересы во имя принципа равенства и общенациональной солидарности. В настоящее время на это заседание смотрят не столь восторженно и стараются в дей-

ствиях представителей дворянства и духовенства 4 августа открыть следы единственно-благоразумной политики именно с точки зрения сословных интересов: то, что произошло в этом историческом заседании, являлось для привилегированных, конечно, потерей, сравнительно с до-революционными порядками, но большим выигрышем по сравнению с фактически установившимися, под влиянием аграрных беспорядков, отношениями.

Так или иначе, но первые речи в пользу отмены сеньериальных прав были произнесены именно аристократами — виконтом де-Ноайлем и герцогом д'Эгильоном. Оба решительно не пожелали оставаться в рамках вышеупомянутого проекта обращения к населению. Де-Ноайль прямо признал, что само Собрание виновато в разразившихся беспорядках; что крестьяне просили вовсе не Конституции, а изменения или уничтожения сеньериальных прав; что для них, крестьян, *единственно* важное дело есть именно освобождение от пережитков феодализма. Де-Ноайль этим равнодушием Собрания к нуждам крестьян и объяснял насильственный образ действий деревенского населения. Он предложил поэтому: 1) отменить без всякого выкупа все виды *личной* зависимости крестьян от сеньеров или от церковного землевладения, все виды *main-morte*, барщичны и т. д.; 2) что касается феодальных прав на землю, то дать деревне право выкупать эти права у сеньера (даже помимо согласия последнего), причем самый выкуп должен быть исчислен, принимая во внимание средний ежегодный доход от этих прав (средний за последние десять лет). Д'Эгильон предварил, чтобы выкупная сумма исчислялась путем капитализации ежегодного дохода из 7½%. За принудительный выкуп высказались в горячих речах и другие ораторы. Тут же отказались от своих прав и представители духовенства. Было уничтожено право вотчинной юстиции, право охоты, право содержать голубятни и кроличьи сады. **разоряющие** крестьянские земли; духовенство отказалось от сбора десятинной подати в пользу церкви. **Наперерыв**

представители привилегированных сословий вспоминали и называли те или иные права и привилегии, составлявшие сущность сеньериального строя, и тотчас же Собрание признавало эти права отмененными.

Все эти принципиальные решения были на другой день с ликованием приняты Парижем, а затем и всей Францией, в особенности же французскою деревнею. Но в ближайшие же дни оказалось, что еще немало воды должно утечь, пока провозглашенные 4-го августа принципы облечутся в форму положительных, ясных и точных законов. Казалось бы, что дворянство, раз уж решившись отказаться от своих прав, чтобы хоть добиться *выкупа* их государством, — поняло всю невозможность рассчитывать на дальнейшее беспрепятственное взимание феодальных платежей и не будет поэтому задерживать дело. Но оказалось не то. Крестьяне, узнавши о заседании 4 августа, с восторгом удостоверились, что желание их исполнилось и сеньериальный режим перестал существовать, — а потому сейчас же упала и замерла волна аграрных волнений. Дворяне же именно потому, что волнения прекратились, решили, что они поторопились со своими отказами и заявлениями. Были пущены в ход придворные влияния, и декрет Собрания, в окончательной форме излагавший решения, вынесенные 4 августа (этот декрет прошел 11 августа), до 3-го ноября не утверждался королем («я никогда не соглашусь ограбить мое духовенство и мое дворянство», писал Людовик XVI одному епископу в эти месяцы колебаний).

Наконец, декрет был утвержден. Но и это было лишь самым началом дела. Необходимо было выработать целую сложную систему выкупа тех или иных сеньериальных прав и, вообще, перевести на юридический язык принципиальный декрет Собрания. И вот тут-то дело страшно замедлилось. Начать с того, что Национальное собрание избрало комиссию из 23 человек, которая и должна была выполнить всю эту нелегкую работу, — и в ней оказалось всего 2 представителя крестьянства. Большинство комиссии

составляли буржуа; дворяне были представлены четырьмя лицами. Нужно сказать, что представители буржуазии, вообще говоря, вели себя уже в заседании 4 августа вполне нейтрально, — избегали высказываться и хотя были очень довольны, что отказ привилегированных вышел как бы добровольным, но отнюдь не полагали нужным торопиться с проведением в жизнь провозглашенных принципов. А тут в комиссии дело еще более осложнилось тем, что почти все эти буржуа, члены комиссии, были адвокатами, да еще крупными, имевшими тесные связи с судейскою администрацией; некоторые из них и их родственники владели (благоприобретенными, правда, а не родовыми) феодами, с которыми были связаны сеньериальные права, а главное, в качестве юристов, им постоянно приходилось, — и особенно в последние годы перед революцией, в годы обострения феодальной реакции, — вести целый ряд процессов по разным земельным делам, где феодальное право играло главную роль. Все привычки мышления, все их давнишние житейские отношения, отчасти, даже, собственные интересы, — побуждали юристов, составивших подавляющее большинство в комиссии, не торопиться с осуществлением декрета 4—11 августа.

Комиссия после нескольких месяцев довольно бесплодных прений, остановилась на том, что среди сеньериальных прав некоторые были *droits usurpés*, незаконно захваченными правами, а другие — *droits legitimes* — законными правами. Казалось бы, что при этом речь идет лишь о правах на землю, но уж ни в каком случае не о правах на личность крестьянина, не о разных видах личной зависимости, — ибо все эти виды личной зависимости были уже наперед объявлены декретом Собрания подлежащими уничтожению без выкупа: следовательно, можно было предполагать, что комиссия будет искать «узурпированных прав» среди оставшейся массы сеньериальных прав на землю. Ничуть не бывало: комиссия подвела под понятие «узурпированных прав» именно разные виды личной несвободы и некоторые

повинности, которые фактически давным-давно перестали существовать еще задолго до революции. Этот приём комиссии был подсказан и проведен защитниками сеньериальных интересов именно затем, чтобы с тем большим упорством можно было отстаивать выкуп полностью за все другие права, которые, правда, фактически, не признавались крестьянами уже с первого же момента аграрных волнений, но получить вознаграждение за которые чрезвычайно было желательно дворянству. Все действовавшие до революции права, связанные с земельным держанием в точном смысле слова, признаны были подлежащими выкупу. Мало того: комиссия установила принцип, что не сеньер, требующий от крестьян выкупа своих прав, должен предъявлять доказательства справедливости своих требований, но крестьяне, если они оспаривают предъявляемую к ним претензию, должны доказывать, что они не обязаны платить. Другими словами, комиссия всецело стала на столь выгодную сеньерам чисто-феодалную точку зрения, которая, как выше было сказано, формулировалась словами *nulle terre sans seigneur*, не может быть земли, которая не лежала бы в пределах какой-либо сеньерии. А так как еще до революции много раз выяснялось, что сплошь и рядом у крестьян на руках нет вовсе или почти нет настоящих юридических документов и по закону все подлинные акты сохранялись именно у сеньера в его замке, — то ясное дело было, что доказывать что бы то ни было с документальными данными в руках было для крестьян в высочайшей степени затруднительно. Выходило, что, сжигая до тла архивы замков, сеньериальные документы и т. п. в июле 1789 года, крестьяне повредили не сеньерам, а самим себе: еще по этим документам иной раз возможно было бы доказать, что тогда-то и тогда-то сеньер за такое-то вознаграждение отказался от части своих прав, — без документов же это было невозможно. А сеньеру утрата документов нисколько не вредила: комиссия сделала оговорку, что в случае уничтожения документов, доказывающих права

сеньера на землю, — сеньер мог перед судом сослаться на свидетелей, при чем достаточно было свидетельских показаний о том, что его права на данную землю признавались в течение последних 30 лет. Конечно, таких свидетелей можно было набрать сколько угодно, без всякого труда.

Чем дальше шло время, тем более решительно комиссия становилась на защиту сеньериальных интересов и тем более извращался реальный смысл принципиальных заявлений 4 августа. Объясняется это не только составом комиссии, но и общим изменением в политическом положении страны. После бурных событий 1789 года наступило затишье 1790—1791 г.г. Урожай в эти годы были хорошие; и деревня, и город залечивали раны, нанесенные тяжкою голодовкою и безработицею 1789 года; политическое положение (вплоть до 20 июня 1791 г., до бегства короля) считалось упрочившимся, и нормальный переход Франции от абсолютизма к конституционной монархии казался обеспеченным. Вместе с тем, новые власти окончательно окрепли и утвердились, порядок строго поддерживался, исчезла тревога за будущее, деревня была совершенно спокойна и ждала результатов работ комиссии. Между тем, нерасположенные к реформам политические круги усматривали в этом спокойствии залог возвращения если не к старому порядку, в точном смысле слова, то во всяком случае к зависимости крестьянской земли в той или иной форме. И вот, комиссия решилась, наконец, на шаг, в корне уничтожавший значение освободительных деклараций 4 августа: она отвергла принцип обязательности выкупа сеньериальных прав, а признала сделку возможною лишь при согласии обеих сторон. Правда, еще раньше самое слово «сеньериальный» было изгнано из обихода, — отношения крестьянина к сеньеру были приравнены к отношениям должника к кредитору, — но от этого дело не изменялось. Мало того, было признано, что лишь вся деревня, вся «община» может выкупить эти права у сеньера, но отнюдь не отдельный крестьянин. Лучший

современный историк аграрной реформы во Франции И. В. Луцицкий справедливо говорит, характеризуя деятельность комиссии: «что, в сущности, сделало Национальное собрание, что дало оно в ответ на те требования, с какими обратилось к нему население страны? Оно провозгласило отмену сеньериального режима, но оставило все то, что действительно жило и сохранилось из него, и уничтожило то, что и без него почти перестало существовать... Все прежние сеньериальные права были превращены в простые земельные права. Реформа свелась к реформе одних слов, одних названий. Право владения было поставлено под такую же защиту, как и собственность, и тот, кто ссылался на факт владения, продолжал пользоваться правами дотоле, пока не будет доказано, что права эти узурпированы, или пока они не будут выкуплены. Сущность сеньериального режима сохранялась только под другой кличкой».

Предположения комиссии были приняты 15 марта 1790 г. Национальным собранием, получили силу закона и были опубликованы. Своеобразную картину представляла собою после этого французская деревня: с одной стороны, в целом ряде местностей сеньеры и не думали приступить к переговорам о выкупной операции, а, просто, требовали от крестьян уплаты почти всех прежних повинностей, с другой стороны, там, где крестьяне приступают с решительными требованиями о выкупе, сеньеры всячески тормозят дело, ставят неслыханные требования, ложно толкуя старые записи о платежах (получавшихся за последние 30 лет), заламывают неслыханную выкупную цену. Крестьяне в 1790—1791 г.г. во многих местностях пытались делать то, что они повсеместно делали с июля 1789 г.: не платить сеньерам решительно ничего. Но теперь это было труднее. Во-первых, закон категорически повелевал уплачивать то, что приходится, впредь до выкупа; следовательно, сеньеры имели на своей стороне формальное право. Во-вторых, разбираться во всех этих земельных дразгах и тяжбах должны были суды, — и по всей Франции

закипела своеобразная судебная война: все суды были завалены жалобами крестьян на узурпацию сеньеров и сеньеров — на бунтовщическое нежелание крестьян исполнять свои обязанности, т. е. уплачивать, что следует. Крестьяне целыми деревнями жаловались прямо в Национальное собрание и в комиссию по феодальным делам, писали, что «козлюбленные сеньеры» попирают все права, угнетают народ еще хуже прежнего и т. д. Собрание и комиссия не обращали никакого внимания. «Мы все еще рабы», «собрание уничтожило свои первые благодетельные распоряжения», «мы никогда не сможем выкупить все права», — эти и подобные им мысли варьируются на все лады в крестьянских общих приговорах, протестах, жалобах, мольбах, — которыми они осыпают Собрание. Что касается судов, то комиссия, как указано выше, так хорошо вооружила сеньеров для судебной защиты всех претензий, что в судах крестьяне ничего поделать не могли. Любопытно отметить, что в целом ряде случаев новый закон не улучшил, а ухудшил положение крестьян, давши сеньерам право и возможность закрепить за собою такие права, которые именно в таких-то и таких-то местностях уже успели выйти из употребления, — а между тем, в общем для *всей* Франции законе, созданном комиссией, они попали в число прав, подлежащих выкупу, «законных», а не «узурпированных».

Крутое изменение в положении вещей, казавшемся к концу Национального учредительного собрания прямо безвыходным, произошло в прямой связи с общими переменами во внутренней и внешней политике страны. Осенью 1791 года закончилось свое существование Национальное учредительное собрание и, уже на основании выработанной им конституции, было избрано новое собрание — Законодательное, куда, в силу особого закона, не попал ни один из членов предшествующего собрания. Но и новое собрание сначала не обращало особого внимания на жалобы, которые не переставали стекаться в Париж со всех концов Франции от деревенского населения. Обстоятельства, однако,

изменялись не по дням, а по часам. Духовенство, раздраженное еще в 1790 году новым своим устройством (не признанным папою), перешло в массе своей в лагерь контр-революции, и, пользуясь огромным влиянием в народной среде, — стало могущественным фактором контр-революционного брожения; иностранные державы явственно готовились к нападению на Францию; назревало на глазах у всех будущее вандейское восстание; на Францию надвигался жесточайший финансовый кризис и, что еще важнее, кризис торгово-промышленный; все враги нового строя и вне и внутри страны мобилизовали свои силы и громко говорили — кто о разделе Франции, кто о полном восстановлении старого режима. При этих условиях всеобщее внимание (и внимание тревожное) обращала на себя необычайно усилившаяся эмиграция дворян за границу. Эмигранты открыто готовились принять деятельное участие в военных действиях австрийцев и пруссаков против Франции.

Вот тогда-то в Законодательном собрании и выдвинулся был вопрос (в феврале 1792 года) о полном пересмотре всего законодательства предшествующего собрания, касающегося сеньериальных прав. Этот пересмотр диктовался повелительными нуждами текущего момента: отстаивать дальше исключительно в пользу дворянства и в прямой ущерб крестьянам сеньериальный режим, как раз тогда, когда дворянство, в лице эмигрантов, готовилось с оружием в руках напасть на отечество, казалось слишком уж несправедливым. Мало того: нельзя было, как говорили ораторы Законодательного собрания, призывать народ жертвовать жизнью за родину, не освободивши раньше этот самый народ от совсем его запутавших юридических хитросплетений, отдававших его во власть владельцам бывших сеньерий. Наступила война весной 1792 года, затем прошло лето с его грозным кличем «отечество в опасности», затем наступило и 10-е августа — провозглашение республики. Все эти обстоятельства заставляли новую, действовавшую с начала Законодательного собрания, комиссию по ликви-

дации сеньериального режима все более и более отходить от старых точек зрения, имевших силу еще в 1789—1791 г.г. Основное несогласие нового собрания и его комиссии с первым собранием (и комиссией этого первого собрания) заключалось в том, что теперь с гораздо меньшим почтением относились к самому принципу былого феодального строя, к его происхождению. Он весь, сплошь, представлялся Законодательному собранию последствием исторического насилия, узурпации прав на землю, одним сплошным многовековым злоупотреблением. Это воззрение, проповедывавшееся просветительной философией XVIII века, теперь восторжествовало над чисто юридическим строем мышления, свойственным комиссии 1789—1791 г.г., когда принцип давности пользования, принцип исторического права сеньера на сеньерию, был признан в почти полном объеме. Законодательное собрание не только признало подавляющее большинство сеньериальных прав подлежащим отмене немедленно и без всякого выкупа, не только в самых решительных выражениях уничтожило самое представление о возможности впредь чьих бы то ни было прав на землю, кроме прав собственника или (временных и условных) прав арендатора, но даже для признания немногих бывших сеньериальных прав, какие все-таки подлежали выкупу, собрание указало судам требовать от претендующего (бывшего) сеньера предъявления определенного юридического документа, который бы был неоспорим по форме и по существу. Выкуп прав делался обязательным, причем выкупную сумму можно было уплачивать по частям в тридцать четыре месяца, считая со дня совершения сделки. Выкупать эти права отныне мог каждый крестьянин (и, вообще, каждый владелец земельного участка) по собственному своему желанию, отнюдь не образуясь с остальными односельчанами. После прений, продолжавшихся четыре дня, 28 августа 1792 года, в последние времена существования Законодательного собрания, были приняты все эти постановления, в самом деле в корне подорвавшие, наконец, сеньериальную юриспруденцию и

уничтожившая всякую возможность юридических попыток реставрации сеньериального режима.

Дело не дошло даже и до выкупа тех немногих прав, какие все-таки были признаны за сеньерами Законодательным собранием. Национальному конвенту, который с 20 сентября 1792 года сменил собою Законодательное собрание, выпало на долю совершить то, что было, *в главном*, сделано 28 августа 1792 г. Крестьяне решительно не хотели и слышать о каких бы то ни было выкупах, и, просто, категорически отказывались признавать чьи бы то ни было права на свою землю. Конец 1792 и начало 1793 года (до полного поражения жирондистов) были временем, когда самое пылкое возбуждение царило не только в Конвенте, но и в стране, и когда к громкому голосу населения законодатели сильно прислушивались. А голос этот звучал вполне определенно: только применением силы власти могли бы заставить крестьян подчиниться даже столь немилостивым к сеньерам постановлениям 28 августа 1792 года. Ни одного су выкупа ни за какое сеньериальное право — таков был твердый лозунг деревни в 1793 году. Будь декрет 28 августа 1792 г. проведен раньше года на три, он был бы принят с удовлетворением; теперь в 1793 году, в эпоху яростной борьбы нового строя с нападавшими на него врагами, — ни крестьяне, почувявшие, что на этот раз власти будут на их стороне, не желали повиноваться, ни сами власти не думали и не желали применять какие бы то ни было меры строгости против крестьян — в пользу сеньеров. «Наш сеньер — в Кобленце» (т. е. в лагере эмигрантов, готовящихся к вторжению во Францию), — эта ядовитая фраза, попадающаяся в крестьянских прошениях 1791—1792 г.г., сделалась в 1793 году в глазах властей аргументом, не допускающим никакого опровержения.

Конвент решил покончить с вопросом радикально. 17 июля 1793 года прошел декрет, — уничтоживший *без выкупа* и немедленно *всё* без изъятия сеньериальные права, предписывавший всем, у кого, вообще есть документы,

удостоверяющие эти права, сдать все такие бумаги *вместе для сожжения* их. Историческое дело было завершено. Земельная собственность во Франции сделалась совершенно свободною.

Для французского крестьянства открывалась в полном смысле слова новая эра: французские крестьяне, фанатично преданные идее частной собственности, впервые именно только после уничтожения сеньериальных прав ощутили себя настоящими собственниками. Еще двадцать пять лет спустя это ощущение не изгладилось, и крестьяне во Франции были *«тыяны* своею собственностью», как выразился однажды публицист эпохи реставрации Поль-Луи Курье.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

*Увеличение площади крестьянского землевладения в эпоху 1789 — 1799 г.г.: 1) возврат общинных земель, 2) покупка части национальных имуществ.

Сравнительно с тем изменением в положении крестьян, о котором было рассказано в предшествующей главе, все остальное, что было сделано, представляло собою второстепенный интерес. Но все же никак нельзя обойти молчанием вопрос о перемещениях земельной собственности, какие произошли при революции, и о том значении, какое эти перемещения имели для крестьян.

После всего, что было выше сказано, читателю должно быть совершенно ясно, что «аграрный вопрос» во Франции до и во время революции заключался вовсе *не в малоземелье и, тем более, не в безземелье крестьян*, но почти исключительно в страстном желании крестьян-собственников избавиться от каких бы то ни было притязаний сеньеров на *их, крестьян*, землю, — от притязаний, основанных исключительно на пережитках феодального права. Мы видели, что даже и для окончательного разрешения этого, казалось бы, гораздо менее трудного вопроса, понадобилось

почти четыре года. Можно с полною уверенностью сказать, что если бы было выдвинуто требование отчуждения в пользу крестьян земель, принадлежащих иному классу общества, — то весь ход события был бы совсем другой; во всяком случае ни одно из управлявших Францией собраний — ни Национальное учредительное, ни Законодательное, ни Конвент, ни, конечно, Совет пятисот и Совет старейшин эпохи директории не относились иначе, как с самым решительным осуждением ко всему, что могло бы даже отдаленно показаться неуважением к частной собственности. Когда в 1793 году ходили смутные толки о возможности передела земель, об издании «аграрного закона» в этом смысле, то Конвент, при полной поддержке самых радикальных групп, провел декрет, по которому подлежит смертной казни всякий, делающий предложение о подобном аграрном законе. Но даже и такие мимолетные толки *вовсе* не затрагивали крестьянскую массу.

Когда мы говорим, что сущность аграрного вопроса во Франции конца XVIII века заключалась не в малоземелье или безземелье крестьян, это не значит, конечно, что во Франции все крестьяне имели достаточно земли. Напротив, рядом с богатыми или, просто, зажиточными собственниками мы видим и малоземельных, принужденных арендовать землю у односельчан или у других лиц, видим и вовсе безземельных, перебивающихся либо арендою из-полу, либо батрачьей работой, либо уходящих на заработки в города; мы знаем, наконец, — и об этом подробнее будет сказано в следующей части настоящего очерка, — что, вообще, недостаточность дохода от земли заставляла крестьян кое-где целыми деревнями приниматься за промышленный труд, брать заказы от фабрикантов или работать на продажу. И *вовсе* не только обремененность феодальными и государственными налогами заставляла крестьян прибегать к подобным промыслам, но также и малоземелье. И все-таки несмотря на все эти факты, — *не недостаток* земли, а *несвобода, феодальная закрепощенность* земли — вот в чем

заключалось основное горе крестьянской жизни при старом режиме, если судить по всем изъяснениям, по всем поступкам крестьян в эпоху революции.

Была, собственно, лишь одна, вполне определенная земельная претензия, с которой, так сказать, *вся* французская деревня — и собственники, и безземельные — обращалась к новому правительству: мы говорим о требовании возвращения общинных земель, захваченных в разное время сеньерами. Эти захваты производились в огромных размерах; уже в XV—XVI в.в. они составляли быч деревни; конечно, эра старого режима, как он сложился после Ришелье, на основе союза между верховною властью и дворянством, была особенно благоприятна захватам. «Судейская аристократия», «noblesse de robe», и в этих вопросах неизменно становилась на сторону захватчиков-сеньеров, а не обиравших ими крестьян, так что и тут повторялась история со всеми, вообще, судебными исками крестьян, пытавшихся в XVIII столетии, до 1789 г., отстаивать свои права от посягания со стороны сеньеров. Впрочем, и дальше судьба вопроса об общинных землях развивалась параллельно и аналогично с судьбами общего вопроса о сеньериальных правах. Так, в тяжкое для крестьян время жестокого обострения феодальной реакции, — последовавшее между отставкою Неккера (1781 г.) и 1788-м годом, — общинные земли захватывались особенно беззастенчиво. Отовсюду несутся жалобы (особенно это сказалось в наказах), что деревни остаются без лесов и пастбищ, что крестьяне должны сегодня платить за выпас скота на тех самых лугах, которые еще вчера считались в общем и безвозмездном пользовании всей деревни. Но Национальное учредительное собрание и в этом деле тоже стало на сторону сеньеров и даже повело определенно *враждебную* политику против крестьян, которые осмеливались, впредь до судебного разбирательства, пользоваться захваченными сеньером общинными землями. Да и, вообще, здесь опять-таки не сеньеры должны были доказывать и предъявлять документы, на основании

которых они произвели свои захваты, а *крестьяне* должны были, с документами в руках, подтверждать свои права. Ссылки на обычай, на то, что испокон веков такие-то земли считались общинными, не принимались в соображение, а документов, имевших юридическую силу, у крестьян в данном случае было еще меньше, чем когда шла речь о споре из-за специальных прав на частную собственность, на земельные владения отдельного крестьянина. Нужно заметить, что, вообще говоря, общинные порядки, *жизнь общины* — все это было совершенно чуждо французской деревне XVIII столетия. Ведь, почти только выгоны и леса и были в общинном пользовании, — остальное крестьянское землевладение — если не считать редчайших, сохранившихся в виде исторического курьеза, исключений, — было строго индивидуальным. Конечно, когда нужно было отстаивать общинный лес или выгон от захвата сеньера, вся деревня, как один человек, объединялась против захватчика; но едва лишь эти земли были возвращены, общинный порядок пользования подвергся, правда, не особенно быстро, изменению и — уже в XIX веке — уничтожению.

Самый возврат общинных земель крестьянам совершился тогда же, когда освобождение их от сеньериальных повинностей сделалось окончательным, юридически установленным фактом. Законодательное собрание (в августе 1792 года) отняло у сеньера право владеть общинною землею, если он не представит законно оформленного акта о покупке этой земли у крестьян; а в некоторых случаях вместо такого акта сеньер мог представить свидетелей и доказательства, что он не менее 40 лет владел этою землею. Но конвент (в 1793 г., декретом 10 июня) отнял у сеньеров и эту уступку (относительно 40 лет) и вернул деревне все общинные или впусе лежавшие земли, относительно которых у сеньера не нашлось законно оформленной купчей крепости. Для некоторых местностей этот возврат был сущим благодеянием, особенно для малоземельных и безземельных крестьян. Конвент признал необходимым совершить

раздел этих возвращенных деревне земель между односельчанами в частную собственность; и есть ряд известий, что в крестьянском населении было сильное течение за немедленный раздел. Но этот раздел встретил на практике некоторые препятствия, и уже при директории правительственная власть сочла нужным — по разным соображениям — задержать раздел. Тем не менее, конечная гибель общинного пользования этими землями не могла подлежать сомнению. Вся эволюция аграрных отношений во Франции (и особенно со времен переворота 1789—1799 г.г.) была такова, что для прочного и длительного существования общинного пользования хотя бы частью земельной площади, принадлежавшей крестьянству, не было никаких благоприятных условий. Но история постепенного исчезновения этого общинного землепользования выходит далеко за хронологические пределы темы настоящего очерка.

Так или иначе, а самая площадь земли, принадлежавшей крестьянству (ея абсолютные размеры), увеличилась вследствие этого возврата захваченных сеньерами общинных земель.

Увеличилась она и под влиянием другого события, — так называемой *продажи национальных имуществ*. Если возврата общинных земель крестьяне хоть домогались, жаждали на захват, просили и т. д., то ко всей операции конфискации и затем продажи национальных имуществ они не имели ни малейшего касательства вплоть до того момента, когда началась самая продажа. Это было счастьем, которое не было добыто борьбой, о котором даже и не просили, и не думали, но которое свалилось на крестьянство (или, вернее, на некоторую часть крестьянства) только потому, что государственная необходимость заставила правящие власти приступить к продаже конфискованных дворянских и церковных земель.

«Национальными имуществами», как известно, назывались: 1) церковные и монастырские земли, отнятые у церквей и монастырей последовательными декретами Национального

учредительного собрания в 1789—1790 г.г., и 2) земли, конфискованные у эмигрантов в силу специального закона, изданного против эмигрантов в 1792 году. Нужно сказать, что до настоящего времени исследование документов не привело к определенному ответу на три важных вопроса: 1) Каково было общее количество всех этих конфискованных земель, очутившихся в полной собственности государства? 2) Каково было количество земли (не стоимость ее, а реальные размеры) из этих национальных имуществ, которое действительно было распродано правительством и попало в руки частных собственников? 3) Как распределялись покупки этой земли между отдельными классами общества? Другими словами: какой класс общества больше выиграл от этой распродажи?

Первые два вопроса нас тут не интересуют (да они пока остаются совершенно без ответа со стороны науки; или, вернее, даются лишь гадательные, часто весьма голословные, ответы). нас здесь занимает третий вопрос, потому, что от его разрешения зависит понимание того значения, какое имела распродажа национальных имуществ для *крестьянства*.

Третий вопрос тоже еще не разрешен наукою в полном объеме, для *всей* территории Франции, но, во всяком случае, он разрабатывается более успешно и для его планомерного разрешения существуют драгоценные данные, которые постепенно, с течением времени, все более и более подвергаются обследованию и вступают в научный оборот.

Прежде всего, нужно вспомнить, что, конфискуя церковные земли в 1789 г., монастырские в 1790 году, Национальное собрание заботилось исключительно о том, чтобы помочь почти безвыходному финансовому положению государства; конфискуя эмигрантские земли в 1792 году, Законодательное собрание стремилось не только к наказанию виновных, но позже и к удовлетворению финансовых нужд государства.

Когда же составился в совокупности из церковных и эмигрантских земель и оказался в руках государства фонд, оцениваемый некоторыми в 3—3½, а другими и в 5 миллиардов франков (хотя все эти исчисления *крайне* шатки и ненадежны), — фонд, во всяком случае, колоссальных размеров, то естественно, что первую и главную заботу правительства было — самым выгодным с финансовой точки зрения образом этот фонд использовать, реализовать в деньгах всю эту землю. Всякие другие точки зрения при продаже национальных имуществ, если и не были всецело исключены, то, во всяком случае, являлись уже не решающим, а спонсующим мотивом. Еще когда только проектировалась, проходила в Национальном собрании конфискация церковной земли, говорилось, напр., что, помимо всех выгод для казны, распродажа этих конфискованных имений сильно укрепит новый строй, и что поэтому желательна дробная продажа земли, мелкими, а не крупными участками, чтобы явилось как можно больше покупателей: каждый покупатель уж навеки-вечные будет врагом восстановления старого режима, так как будет бояться за свою землю. И действительно, по майскому декрету 1790 г. не только решено было дробить церковную землю при ее распродаже, но и устанавливались льготнейшие условия приобретения ее (рассрочка выкупа на *двенадцать* лет с начетом всего 5%). А едва только спустя несколько месяцев обнаружилось, что финансы все ухудшаются и необходимо *немедленно* реализовать возможно большую сумму, — так сейчас же (в начале ноября того же 1790 г.) вместо 12 лет допущена была рассрочка всего на 4½ г. — для земельных угодий, продающихся близ деревень, и в 2 года 10 мес. для земли городской и пригородной, — и тогда же было приказано продавать отныне земли, не дробя их, большими, отрубными участками и, по возможности, стараться продавать их именно в одни руки. Такой же порядок был распространен впоследствии и на конфискованные в 1792 году земли дворян-эмигрантов. При Конвенте

проявилась была забота о мелком собственнике и, даже, именно о безземельных крестьянах (так как *безземельным* дозволено было покупать участки в 500 франков и уплачивать эту сумму в 15 лет). Но все-таки декрет, враждебный дроблению на мелкие участки, отменен не был. А при директории (в 1796 г.) отнята была даже та рассрочка в платежах, которая до тех пор существовала, и заменена более краткими и обременительными для покупателя условиями.

Таким образом, эта распродажа не могла уничтожить безземелья в деревне, но она содействовала укреплению экономического и социального значения более или менее зажиточных крестьян, которые могли воспользоваться и на самом деле воспользовались уже имевшимся своими средствами, чтобы принять участие в покупках распродаваемой правительством земли. Главной и — местами — чрезвычайно могущественной конкуренткою крестьянства при этих выборах явилась, конечно, буржуазия, гораздо более денежная и влиятельная. Но несомненно, что и крестьянству выпала на долю большая добыча, особенно в далеких от городов, чисто «деревенских», местах. Эта распроданная земля усилила буржуазию, усилила зажиточную часть крестьянства — в каких размерах, каково было процентное отношение для всей Франции крестьянских покупок к покупкам буржуазии, этого наука еще не знает в точности. Во всяком случае, распродажей национальных имуществ были страшно ослаблены бывшие привилегированные сословия — церковь и дворянство, — и экономически усилено бывшее «третье сословие» — буржуазия и крестьянство. В деревне создавалась окончательно — крепкая, хозяйственная, собственническая группа, чрезвычайно устойчивая в социальном отношении, дававшая тон отныне всей деревне, подавлявшая своим влиянием малоземельных и безземельных односельчан. Полное же уравнение всех граждан в правах и обязанностях, равномерное распределение между гражданами налогового бремени — все это было главным благом, которое получили от

нового строя все крестьяне, без различия имущественного положения.

Политически — крестьянство совершенно отходит от арены борьбы уже в 1793 году, — когда окончательно и бесповоротно был уничтожен сеньериальный режим; в смысле узко-«революционном», в смысле революционных выступлений, — крестьянство еще в 1789 г., после июльских и, отчасти, августовских нападений на земли, — перестало привлекать к себе тревожное внимание властей.

Крестьянство вошло в XIX век социально-устойчивым, социально-консервативным, фанатично преданным институту частной собственности; оно получило многое из того, чего домогалось в XVIII веке, получило почти все. В течение всего XIX века оно — в массе своей — было совершенно равнодушно к политике, кроме тех случаев, когда, по его мнению, его собственности что-либо угрожало. Оно не любило Бурбонов и с восторгом отнеслось к возвращению Наполеона с Эльбы в марте 1815 года, — потому что боялось, что Бурбоны отнимут купленную крестьянами при революции землю, конфискованную у церквей и монастырей; оно, с другой стороны, в эпоху июньских дней 1848 г. и до и после них ненавидело рабочих и ненавидело всех, кого подозревало в социализме или коммунизме и кого называло «разделителями» (partagistes) собственности. Все остальное — формы правления, династии, личности правителей — было для крестьянства едва ли не вполне безразлично. В частности, оно с полнейшим равнодушием приняло известие (для него — внезапное) о государственном перевороте 1799 г., повергшем Францию к ногам Наполеона и фактически покончившем с республикою.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Рабочий класс во Франции в эпоху революции.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общее состояние промышленности во Франции накануне революции.—Рабочий класс накануне революции.—Различные категории рабочего класса.

I.

Раньше, чем говорить о том, что довелось пережить рабочим в эпоху революции, нужно дать читателю вполне отчетливое представление о двух резко отличных одна от другой категориях рабочих, занятых в обрабатывающей промышленности; а составить себе это представление невозможно, если не знать, в каком положении находилась в конце XVIII столетия обрабатывающая промышленность во Франции.

1. Прежде всего необходимо помнить, что крупных промышленных заведений во Франции в XVIII столетии было чрезвычайно мало; Франция была страной мелкого производства по преимуществу. В виде единичных исключений попадаются мануфактуры, дающие работу тысяче или более, чем тысяче, человек; редко попадаются дающие работу — 300—500—600 рабочих; дающие работу 100—150—200 рабочим считаются очень крупными предприятиями. Нужно заметить, что самыми развитыми во Франции XVIII столетия отраслями производства были прядильно-ткацкие: шерстяное, полотняное, шелковое, отчасти — уже к самому концу XVIII столетия — бумагопрядильное. Что касается металлургических производств, то они владели жалкое существо-

ванье; стеклянное, бумажное, мыловаренное, кожевенное производства процветали лишь в определенных немногих пунктах и по своему значению не шли ни в какое сравнение с производствами прядильно-ткацкими. И вот, ярким фактом экономической жизни Франции являлось то обстоятельство, что именно в прядильно-ткацких производствах работа выполнялась рабочими *не в здании мануфактуры*, даже очень и очень часто не в том городе, где *чистилась* мануфактура, — а в окрестностях, иногда даже довольно далеких деревнях. Это — факт всеобщий, и когда мы говорим о мануфактуре с 1000, 500, 100 и т. д. рабочих во Франции XVIII века, — то должно понимать это так: контора мануфактуры раздает заказы 1000, 500, 100 либо живущим в городе ремесленникам, либо разбросанным по соседним деревням крестьянам. Иногда крестьянам (и, вообще, рабочим) мануфактура, давая заказ, выдает, вместе с тем, и материал, и орудия производства (станки и т. п.), иногда только материал. Напр., одним из центров суконного производства во Франции в XVIII веке был Седан, — и на все седанские мануфактуры пред революцией работало 15.000 ткачей и прядильщиков. Из них 9000 жили в самом городе Седане и работали у себя на дому, — а 6000 были разбросаны по соседним селам и деревням. Другой пример. в городе Бофоре существовала огромная мануфактура холста, которая давала работу более, нежели 2000 человек, — но из них всего 40 человек работали в здании мануфактуры, а около 2100 пряж, прядильщиков и ткачей были разбросаны как в городе, так и по окрестностям. В двух самых промышленных провинциях старой Франции — в Пикардии и Нормандии, где в громадных размерах было развито шерстяное и полотняное производства, — эти деревенские рабочие, т. е. крестьяне, берущие заказы от мануфактур, — играли громадную роль. То же самое мы видим в центре Франции, то же самое на юге. Бывало и так (особенно в производстве более грубых сортов материй), что крестьяне на собственный риск и страх выделяли

материи, которые потом скупали у них оптом приказчики купеческих и промышленных фирм.

Затем, эти материи либо немедленно поступали в продажу, либо подвергались еще какой-либо дополнительной обработке в городе (окраске и т. п.). Где земля приносила мало, там крестьяне охотно занимались этим промышленным трудом не только зимою, но, отчасти, и летом; где земледелие кормило лучше, там этот труд производился в деревне преимущественно зимою. Правительство очень благосклонно взирало на распространение промышленного труда в деревне, так как видело в нем важный подсобный промысел для крестьян.

Зарботки у промышленных рабочих вообще, а у живущих в деревне — в частности, были разные, и определить их нелегко, так как плата была поштучная, сдельная, а не поденная. В общем, нужно сказать, что крестьяне, бравшие от мануфактуры работу на дом, требовали и получали за свой труд меньше, нежели городские рабочие. Как бы плохо сплось и рядом ни было положение крестьян, все же у них была усадебная оседлость, и хоть какой-нибудь заработок от земледелия, так что в своем подсобном промысле они могли быть уступчивее, чем рабочие городские, для которых их труд являлся единственным источником пропитания. Насколько можно собрать довольно суровые показания и подсчеты современников, заработки этих деревенских промысловых рабочих сильно колебались, смотря по местности. При этом, конечно, ткачи получали значительно больше, чем пряжи и прядильщики. Напр., в Нормандии ткач, по некоторым известиям, получал 26 су в день (су = $1\frac{3}{4}$ коп.), а пряжа 9 су, и только изредка заработок ее увеличивался и доходил даже до 15—20 су. А в Пикардии даже лучшие ткачи лет за пять до революции получали до 10 су в день, а пряжи и прядильщики — 5 су. Но это было в дурные годы; там же, спустя несколько лет, ткачи получали уже по 1 фр. 10 су — 1 фр. 30 сант. в день. В Провансе, на юге, ткачи получали 20—25 су

в день, а пряжи — 5—8 су; в Лангедоке — ткачи обыкновенных шерстяных материй получали 20—30 су в день, а ткачи более тонких сукон — до 40 су в день; там же — ткачи бумажных материй 25—30 су в день; а пряжи всего 6—12 су в день, мужчины-прядильщики до 20 су в день. Эта плата (особенно ткачей) была, обыкновенно, выше той, какую получал батрак, сельскохозяйственный рабочий, и немудрено, что нередко раздавались жалобы землевладельцев на отсутствие нужных им рабочих рук. Напр., землевладельцы Лангедока жаловались, что «фабриканты из провинции слишком много предаются фабрикации сукон..., от чего происходят большие неудобства»; главное же из неудобств то, что «в местах производства не хватает рабочих для возделывания земли».

Своеобразно была организована шелковая промышленность, уже в те времена сосредоточенная, главным образом, в Лионе (второстепенными пунктами этого производства были Ним и Тур). 1) Во главе производства стояли так называемые *кутцы*, предприниматели, которые закупали в больших количествах шелк-сырец, давали этот материал для обработки и затем продавали его. 2) Лица, которым они давали этот материал, назывались *рабочими-фабрикантами* (*les ouvriers fabricants*). Это были хозяева маленьких мастерских, где работало, кроме хозяина и его семьи, еще один—два человека наемных рабочих. Пред революцией в Лионе было около 500 «кутцов», т. е. предпринимателей, которые давали заказы и материал приблизительно 7000 хозяевам маленьких мастерских, — а *наемных* рабочих на все семь тысяч этих мастерских приходилось всего 4300 человек. Нужно сказать, что шелковое производство обыкновенно сосредоточивалось в самом городе, и по деревням шелк в обработку не раздавался.

2. Так обстояло дело со всеми отраслями прядильно-ткацкой промышленности. Мы видим здесь торжество системы домашнего производства, с очень сильным преобладанием (кроме шелкового производства) деревни над

городом, рабочих, живущих в деревне, над рабочими, живущими в городах. Теперь сам собою возникает вопрос: какое отношение имела вся эта масса рабочих, живших в деревне, иными словами, крестьян, занимавшихся промышленным трудом, — к цеховой системе, просуществовавшей во Франции до самой революции?

Королевским указом 7 сентября 1762 года крестьянам позволено было заниматься выделкою всех сортов материй, не будучи членами цехов. (Мы уже видели, что правительство благоволило к развитию промышленного труда в деревнях). Естественно, что это разрешение сильно вредило цехам, существовавшим в городе, так как отныне в деревне возникла для них огромная конкуренция, причем еще конкуренция вполне свободная. С тех пор значение цехов, именно в области прядильно-ткацких производств, было сильно подкошено, — заставить исполнять предписания цеховой системы в городах, когда рядом, в деревне эти предписания (часто очень мелочные и стеснительные) не исполнялись, — становилось с каждым годом все труднее и труднее*). Зато в области железоделательных ремесел, кожевенного производства, мыловаренного, красильного, бумажного производств, в области слесарного, токарного, бондарного, гончарного и других ремесел цеховая система держалась еще довольно крепко.

3. Рабочие *цеховые* были совсем не похожи на «рабочих», о которых только что шла речь. Ведь, рабочие, рассеянные по городу и, еще больше, по деревням, имеющие дело каждый только с заказчиком-предпринимателем, совсем не знающие друг друга, не имеющие никакой возможности хоть один раз за всю жизнь собраться всем вместе, — эти рабочие, хотя бы их числилось 500—1000—2000 человек на мануфактуре, не представляли собою никакой силы,

*) Много доказательств этого факта я привожу из архивных документов во II томе своей книги «Рабочий класс во Франции с эпохи эволюции», на стр. 114—139.

с которою, напр., хозяин должен был бы считаться. Будучи, в большинстве случаев, крестьянами, они душою были полны — каждый интересами своей деревни, а вовсе не заняты интересами, связанными с мануфактурою, которая сегодня дала заказ им, а завтра даст другим. Это очень учитывали также власти пред революцией и очень ценили то обстоятельство, что никакие стачки при подобном положении дел невозможны.

Но *цеховые* рабочие были совершенно иначе поставлены. Как известно, цехи были основаны на том принципе, что данным ремеслом в данном городе может заниматься лишь тот, кто принадлежит к данному цеху. Были цехи жестяников, кузнецов, обойщиков, слесарей, токарей, портных, сапожников, ювелиров, часовщиков, шелкоделов, а также суконщиков, бумагопрядильщиков, полотняный цех и т. д. (хотя, как мы видели, именно прядильно-ткацкая промышленность больше всего обслуживалась вольными рабочими — деревенскими крестьянами, избавленными от всяких цеховых пут). Каждый цех управлялся входившими в его состав цеховыми *мастерами*. Каждый мастер являлся хозяином самостоятельной мастерской; число мастеров каждого цеха в данном городе было строго ограничено. Юноша, желавший стать мастером данного цеха, поступал (сделавши предварительно известный взнос) в одну из таких мастерских в качестве *ученика*. Число ученических лет было в разных цехах разное: в одних 3—4—5 лет, в других даже 6—8—10 лет. Высшей стадией ученичества была степень *подмастерья* или *рабочего*, после достижения которой можно было надеяться стать мастером. Но для этого превращения в полноправного мастера необходимо было: во-первых, выдержать очень трудное испытание, экзамен по своей специальности, во-вторых, внести довольно крупную сумму в пользу цеха, в-третьих, выставить щедрое угощение всем мастерам цеха (этот последний обычай строго исполнялся и влек за собой, таким образом, добавочный крупный расход). Немудрено, что при таких трудностях производство в мастера

шло весьма туго, и основная цель цеховых заправил — затруднить увеличение числа конкурентов — достигалась сама собою.

Итак, мы видим в каждом цехе два главных слоя. Во-первых, полноправные хозяева мастерских, *мастера*, которые не только являются господами, каждый в своей мастерской, но и выбирают синдика и всех должностных лиц цеха, которые имеют надзор и вершат суд и расправу по всем делам и спорам, возникающим на профессиональной почве, в частности, по всем спорам между хозяевами и рабочими, и, во-вторых, — подчиненную массу учеников и рабочих. Ученики были совсем бесправны. Их хозяин мог наказывать телесно, продавать другому хозяину на все оставшиеся по контракту годы (между учеником и хозяином заключался контракт на известное количество лет) и т. п. Им часто жилось настолько нестерпимо, что они убежали, несмотря на грозившие при поимке жестокие наказания. Рабочие, подмастерья (они носили в разных цехах разные названия, — общее наименование их было *les compagnons*, уже отбывшие годы ученичества) были поставлены несколько лучше. Во-первых, они получали жалованье; во-вторых, их права были оговорены: их нельзя было увольнять из мастерской без определенных оснований, их нельзя было бить и т. п. Работали они, обыкновенно, от 12 до 14 часов в день, с перерывом $1\frac{1}{2}$ —2 часа для обеда и отдыха. (Реже — они работали и более 14 часов) Получали они к концу XVIII века разную плату, в зависимости от цеха, от города и т. д. Хорошею платою для цехового рабочего, накануне революции, считался подневный заработок в 1 ливр 50 сантимов — 2 ливра — 2 ливра 50 сант. (ливр = франку; покупательная сила тогдашнего ливра была в $2\frac{1}{2}$ —3 раза, в среднем, больше, нежели теперь, т. е. значит, тогдашние $1\frac{1}{2}$ —2 ливра были равны, по крайней мере, нынешним $3\frac{3}{4}$ —5— $5\frac{1}{2}$ франкам или на русские деньги 1 р. 42 коп. — 1 р. 90 коп. — 2 р. 10 коп., по нынешней их стоимости).

Цеховые рабочие с давних пор, еще с XVI столетия

имели особую тайную организацию, имевшую целью сжиться для борьбы против хозяев и отстаивания своих интересов. Эти организации были приурочены не к данному городу, а к определенному цеху и назывались они *товариществами, братствами* (le compagnonnage, la confrérie). Эти организации были нелегальными, за ними зорко следили и их преследовали как хозяева, так и правительство. Принимались в члены этих организаций только люди, прошедшие чрез известный искус, причем приносились клятвы в верности, проделывались различные мистические церемонии. У членов каждого товарищества были свои пароли и лозунги, секретные слова и знаки, по которым они в любом городе могли узнать друг друга. Каждое товарищество данного цеха имело свои разветвления в разных городах Франции и обязательно помогало пришлому члену устроиться в данном городе, получить работу и т. д. Эти товарищества иной раз организовывали своего рода бойкот того или иного хозяина, который оказал несправедливость рабочему; они, словом, оказывали своим членам всяческую материальную и нравственную поддержку. Эти организации были настолько авторитетны, что, в самом деле, иногда они могли поставить отдельного хозяина в очень трудное положение. Они разоряют хозяев, из-за них мастерские пустуют, — вот в каких выражениях говорят об этих товариществах направленные против них запретительные указы. В конце концов, в некоторых промыслах эти организации, несмотря на свою нелегальность, действовали чуть ли не как официальные учреждения: налагали на хозяев штрафы за те или иные провинности пред рабочими, и те платили; приказывали удалить того или иного рабочего и взять другого и т. д.; они же устраивали стачки, направленные особенно часто против попыток хозяев удлинить рабочий день.

Как относились цеховые рабочие ко всему цеховому строю? Невозможно ответить на этот вопрос одним словом. Конечно, этот строй во многих отношениях их давил,

и, как только что мы видели, им пришлось даже завести тайные сообщества, чтобы бороться против притеснений и несправедливостей хозяев. В частности, больше всего раздражала их трудность проникнуть, наконец, в круг самостоятельных мастеров-хозяев и этим увенчать свою жизненную карьеру. Но, с другой стороны, цеховая организация не только гарантировала им самостоятельное и обеспеченное положение в том далекий, однако, все же достижимый момент, когда они становились мастерами, — но и, вообще, избавляла их, по крайней мере, от изнурительного времени, от страха безработицы. Число мастеров ограничено, число рабочих в каждой мастерской тоже ограничено, — и, таким образом, конкуренция и безработица можно было не бояться. Вот почему цеховые рабочие без особенно бурной радости встретили уничтожение цехов в эпоху революции, хотя не выразили и печали по этому поводу (с сожалением вспоминали они о цехах лишь впоследствии, при директории, в эпоху страшной голодовки, о которой будет речь дальше).

4. Кроме указанных двух категории людей, работавших в обрабатывающей промышленности, кроме крестьян, бравших заказы на дом, и цеховых рабочих, живших в городах, во Франции была еще и третья категория рабочего люда. Это были землекопы, каменщики, плотники, кровельщики, с одной стороны, — и портовые рабочие и чернорабочие, с другой стороны. Это был приличный, кочующий элемент. Они являлись в строительный сезон в Париж и другие большие города и, появившись в феврале — в марте, уходили осенью; масса же портовых рабочих кишела в гаванях Марселя, Бордо, Нанга, Гавра, Дюнкерхе, Шербурга — в разгар навигации и торгового мореплавания, и редела в зимние месяцы, когда навигация ослабевала или приостанавливалась. Некоторые из строительных рабочих (не все) тоже состояли в цеховой организации и служили у хозяина, который и нанимался подрядчиком или строителем дома; другие (особенно землекопы) действовали

каждый за себя. Точно также портовые рабочие некоторых категорий были объединены цеховой организацией, другие — нет. Вся эта рабочая масса была заметна, многочисленна и, пожалуй, в большей степени, нежели какая бы то ни было другая часть рабочего класса, могла заставить с собою считаться. Их объединяло пребывание в одном городе (в более рабочие месяцы), постоянное общение на постройках, на земляных работах; стачки между ними налаживались скорее, — и, вследствие трудности достать большое количество новых рабочих в горячую пору, хозяева и предприниматели боялись этих стачек. Не вполне спокойно поглядывало на них и правительство. Именно рабочие этой категории и оказались из всего рабочего класса больше всего на виду, когда началась революция.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Положение рабочих в первые годы революции (1789—1791 г.г.). — Движение 1789 года — Стачки 1791 г. — Политическое умонастроение рабочих в эти годы.

I.

Чрезвычайно трудно по брошюрам, вышедшим в 1788—1789 г.г., и по наказаниям третьего сословия (к которому, в глазах закона, принадлежали рабочие) судить о настроении рабочего класса в этот памятный момент. В наказах есть указания, касающиеся *промышленности* и исходящие больше от хозяев, предпринимателей: говорится о технической отсталости Франции, сравнительно с Англиею, и о трудности конкурировать с англичанами; говорится — в одних наказах о необходимости уничтожить цеховую систему и объявить промышленный труд совершенно свободным; в других наказах, напротив, высказывается мысль о желательности сохранения цехов; раздаются жалобы на невозможность честно исполнять в городах цеховые постановления, раз деревня совершенно от них освобождена и т. д.

Но нужд и чаяний рабочих мы не можем расслышать почти вовсе.

Впрочем, и немудрено, что рабочие не могли высказаться в наказах: не говоря уже о деревенских рабочих, работавших на мануфактуры и совершенно растворившихся в обще-деревенской, крестьянской массе в момент составления наказов, совершенно забывших о своих особых от прочих односельчан интересах или, просто, не имевших в этом отношении никаких определенных пожеланий, — рабочие цеховые были совсем подавлены прочими слоями городского населения — и прежде всего буржуазиею, с которою вместе им пришлось и наказ выработать, и голосовать. Мало того, — в некоторых местах и прежде всего в столице, где рабочее население было особенно многочисленно (больше, чем где бы то ни было во Франции), — это население было устранено от выборов — специальным цензом (в 6 ливров годового налога). В брошюрах, появившихся весною 1789 года, кое-где попадаетея протест против этого искусственного отстранения рабочей массы от выборов. (Самые выборы в Париже были двухстепенные). «Как?» — спрашивает анонимный автор одной из таких брошюр, написанных якобы от имени рабочих: — наши жалобы, наши требования не будут ни услышаны, ни обсуждены? среди четырехсот выборщиков мы едва можем различить четырех или пять человек, которые, зная наши нужды, наш быт и наши несчастья, могли бы принять в нас серьезное участие». Список выборщиков наполнили и ораторами, и учеными, и «агентами коммерческих интересов», но «он может внести отчаяние в сердца рабочих», ибо ни одного человека из их среды в нем нет. В другой брошюре некто Дюфурни-де-Вилье тоже с горечью спрашивает, почему отстранили от выборов рабочий класс. При этом он иронически просит не повторять, что все равно-де интересы рабочих найдут себе защитников в лице всех депутатов третьего сословия. Он говорит, что если так, то почему же само «третье сословие», т. е., главным образом, буржуазия, домо-

галось для себя широкого представительства, а не успокоилось на том, что его «все равно» будут защищать дворяне и духовенство? Автор подчеркивает, что предприниматели постоянно стремятся уменьшить заработную плату, возможно дешевле купить рабочую силу, и поэтому интересы фабрикантов и интересы «четвертого сословия» (так он называет рабочих) прямо противоположны. Ни один наказ третьего сословия, жалуется он, не говорит о нуждах бедного класса! — Жалуется и еще одна брошюра, составленная в качестве «Жалоб бедных людей к Генеральным Штатам».

Поденщики, ремесленники, рабочие, «лишенные всякой собственности», составляющие «специально» бедный класс и, «к несчастью, половину французской нации», просят короля и депутатов помочь им. Они жалуются, что «представителей выбирали, кажется, только из класса собственников, и все было сделано в пользу богатых и собственников». Пожелания их заключаются в том, чтобы люди, живущие поденною платою, были освобождены от всех налогов, чтобы было сокращено число праздничных дней (их было — кроме воскресений — 25 в году); петиционеры просят, чтобы было оставлено лишь 8 дней и т. п. Генеральные Штаты, на которые вся нация, кроме привилегированных, возлагала живейшие упования, должны были собраться 5 мая 1789 года. Но еще раньше, чем это случилось, парижские рабочие напомнили о себе самым неожиданным образом.

II.

1789 год был, вообще говоря, бедственным для нуждающихся классов населения. Страшная гроза, разразившаяся летом 1788 года и уничтожившая на громадном протяжении весь урожай, была одною из усмидимых (рядом с несколькими неуследимыми) причин страшного голода; уже в декабре 1788 — январе 1789 г., в целом ряде деревень центральной полосы все было съедено и целыми тысячами

голодающие потянулись на заработки в города и, особенно, в Париж. После всего, что было сказано о положении крестьян, об организации земледелия и т. п., нечего много распространяться о том, что никаких хлебных запасов у подавляющего большинства крестьян не было и что всякий неурожайный год обращался прямо в смертельное бедствие.

Таким образом, та припавшая масса землекопов и строительных рабочих, которая всегда, как было в своем месте сказано, появлялась в Париже с ранней весны, ища заработков, — в 1789 году оказалась особенно громадною. Но тщетно изголодавшиеся люди искали работу. Строительный сезон был крайне вялый; политическое положение было тревожно, построек было мало. Безработные стучались во все двери, но напрасно. И вот, среди этой несчастной голодающей массы, совсем неожиданно вспыхнул яростный мятеж. Случилось это 27 апреля 1789 года. Повод был самый ничтожный и случайный: распространился слух, будто фабрикант обоим Ревельон высказался на собрании выборщиков в том смысле, — когда речь зашла о повышении рабочих, — что рабочим достаточно получать 15 су в день. Ревельон ничего подобного не говорил, рабочие на его фабрике получали большинство — 1 ливр 50 сант. (т. е. 30 су), 1 ливр 65 сант., 2 ливра (40 су), некоторые — 2 ливра 50 сант. (50 су), а минимальная плата начинающим была 25 су. Но среди рабочих (не служивших у Ревельона, а, вообще, среди парижской рабочей массы) слуху поверили и бросились громить дом и мануфактуру Ревельона и еще другого лица — хозяина селитроварни Анрио, которому молва тоже приписала враждебные рабочим слова. Начавшись 27 апреля, беспорядки с удесятеренною яростью продолжались 28 апреля, дома Ревельона и Анрио были разгромлены совершенно, но войска, подоспевшие к концу разгрома, расстреливали толпу в упор, пока она не рассеялась. Из задержанных — трое были тотчас же преданы суду и повешены (один на другой же день после разгрома — 29 апреля, а двое — спустя три недели). Остальные отделались тюремным

заключением и каторгой. Сколько было убито при разгоне толпы — не могло быть твердо установлено.

Власти, производившие расследование, отметили, что народ «жалуется на дороговизну хлеба». Совершенно ясно, что Ревельон и Анрио оказались случайно подвернувшимися жертвами, на которых направилась ярость изнервничавшейся, измученной голодом безработной массы.

Впечатление от этого внезапного мятежа и вызванного им кровавого усмирения оказалось гораздо слабее, чем можно было бы думать: всего чрез неделю, 5 мая 1789 г., начались в Версальском дворце заседания Генеральных Штатов и на них были направлены взоры всех. В самом Париже также сразу все затихло и больше двух месяцев длилось терпеливое ожидание, несмотря на продолжавшуюся безработицу и все возрастающую дороговизну предметов первой необходимости. Но едва только — с конца июня — стало ясно, что народным представителям, заседавшим в Версале, предстоит упорная борьба с привилегированными и, отчасти, с двором, — как начала проявляться прежняя болезненная, необычайно быстрая и сильная, возбудимость рабочей массы. У этой массы не было вполне ясного сознания особых своих интересов, которые, как мы видели, один из авторов брошюр называл «прямо противоположными» интересам хозяев; у них не было и сколько-нибудь отчетливой системы политических убеждений; как и в крестьянстве, откуда они вышли, в их головах тоже бродила неопределенная мысль о привилегированных, в которых все зло и которые скрывают истину от короля. Но, в особенности, у них было довольно ясно выраженное сознание собственного своего малосилия: они были впереди, на самых опасных местах — всюду, где им приходилось выступать либо по инициативе буржуазных кругов, либо при явном сочувствии этих кругов. Но они с большими колебаниями и нерешительностью действовали там, где шли в дело помимо или против буржуазии. Да, впрочем, они довольно верно оценивали положение: сами по себе, как класс, они были, действительно, не

сильны. Никакие общие интересы не сближали между собою различные категории рабочего класса, да и не могли сближать, кроме, конечно, одного: они тяжело страдали от безработицы и дороговизны припасов.

Когда в Париж стали приходить вести о том, что при дворе возобладала партия противников реформ, в Палерояле начались огромные собрания; рабочие в этих собраниях выступать не выступали, но составляли едва ли не главную часть слушателей; участие рабочих Сент-Антуанского и Сент-Марсельского предместий во взятии Бастилии также отмечено очевидцами события.

Но вот, после 14 июля и после торжественного приема короля, прибывшего в Париж и надевшего трехцветную кокарду, в Париже все стало несколько успокаиваться; и именно тогда-то ясно выступила вся невозможность для рабочих, даже в Париже, — единственном городе, где они представляли довольно большую и компактную массу, — добиться чего-либо силою или угрозами. Дело в том, что к громадной толпе безработных землекопов и строительных рабочих после взятия Бастилии прибавились новые категории безработных: эмиграция знатных лиц, принявшая характер массового исхода из Франции, во-первых, выбросила на улицу сотни и сотни человек домашней прислуги, а, во-вторых, разорила окончательно поставщиков предметов роскоши, ювелиров, многих мебельщиков, кондитеров и т. п. Современники жаловались, будто одних рабочих ювелиров голодало в Париже несколько десятков тысяч человек. Если эта цифра и преувеличена, во всяком случае характерно, в каких размерах представлялся современникам раззор, постигший парижских поставщиков предметов роскоши в 1789 г. Уже 21 июля, чрез неделю после взятия Бастилии, муниципалитет, осаждаемый мольбами безработных, да и прямыми требованиями и воплями об уменьшении цен на хлеб и о работе, обещал принять меры. Решено было открыть в больших размерах особые «благотворительные работы» на счет города и туда принимать хоть часть безработных. 4 августа

(1789 года), как известно, произошло историческое почтенное заседание, на котором принципиально решено было отменить цехи (формально, особым законом, цехи были объявлены уничтоженными лишь 2 марта 1791 года). Во всяком случае, уже с 4 августа 1789 г. фактически цехи прекратили навсегда во Франции свое существование. Это событие подало повод к некоторым волнениям уже не между безработными, а между бывшими цеховыми рабочими-ремесленниками. 18 августа (1789 года) состоялась большая (в 3000 чел.) демонстрация рабочих портняжного цеха, которые, с одной стороны, добивались увеличения заработной платы, с 30 на 40 су в день, а с другой стороны (и это требование их всецело поддерживалось хозяевами) они требовали, чтобы муниципалитет воспретил старьевщикам изготовлять или продавать готовое платье. Толпа была рассеяна отрядом национальной гвардии, а требования удовлетворены не были; во втором требовании были даже усмотрены признаки недопустимого протеста против принципиального осуждения цехов, высказанного Национальным собранием в ночь на 4-е августа. Очень характерно, что хозяева были даже согласны повысить плату рабочим, *если* второе требование пройдет. Мы ясно видим тут, что уничтожение цеховой системы, допущение вольной конкуренции — было далеко не на руку тем рабочим, которые уже находились *внутри* цеховой организации в момент ее уничтожения. Происходили в августе 1789 года и еще кое-какие сборища. Волновались, напр., парикмахерские подмастерья — и их толпу тоже пришлось рассеять вооруженною силою; волновались и толпы домашней прислуги, оставшейся без мест: они требовали, чтобы муниципалитет выслал из Парижа всех слуг-иностранцев, особенно главных конкурентов — савояров. Муниципалитет во всем отказал наотрез и грозил употребить силу, если сборища не прекратятся. Наконец, открыты на Монмартрских высотах муниципальные работы (с благотворительною целью — доставить заработок безработным), — так называемые, «благотво-

рительные мастерския», тоже причиняли много тревожений муниципальным властям в эти дни. К концу августа там уже числилось 22 тысячи человек, занимавшихся, большей частью, землекопными работами и получавших двадцать су (1 франк) в день. Национальное собрание не особенно благосклонно посмотрело на эту затею, и сначала решило уменьшить плату (хотя 20 су и без того было явно недостаточно, в огромном большинстве промыслов плата была 30—35 су, т. е. 1 фр. 50 сантимов — 1 фр. 75 сант.). Правда, муниципалитету удалось добиться отмены этого постановления, но, все равно, беспорядки возникли: рабочие требовали, чтобы им платили и за праздничные дни, и (16 августа) началось брожение, рабочие грозили ежеч. ратушу и т. д. Была вызвана национальная гвардия, — и генерал Лафайет предложил нежелающим оставаться на работах отправляться на родину, причем путевые издержки обязывался покрыть муниципалитет. Рабочие покорились, — брожение утихло. Вместе с тем, муниципалитет, усматривая опасность от слишком большого скопления рабочих в одном месте, постановил: закрыть монмартрские работы, а вместо них устроить во многих местах Парижа *несколько* таких «благотворительных мастерских». Власти опасались, что это решение вызовет бунт. К Монмартру была двинута артиллерия и «добровольно» явился отборный отряд, составленный, главным образом, из тех, кто отличился при взятии Бастилии, — говорит одна тогдашняя газета. Они явились в помощь войскам, приготовившимся действовать против монмартрских рабочих. Никакого сопротивления оказано не было. Рабочие беспрекословно сдали инструменты, попарно подходя к заведывавшим этим делом чиновникам. «Не произошло», по словам очевидца: «ни малейшего беспорядка, даже не слышно было ропота; злые, преступные и опасные люди, несомненно, смешались с этою толпою несчастных. Нужно было, чтобы те, которые так часто и так бесчеловечно утверждали, что (в рабочих) нужно стрелять картечью, видели их в этот момент; может быть, трогательное зрелище

их глубокой нищеты и мудро оказываемых городом благодеяний тронуло бы их свирепую душу, если у них осталось еще «молько-нибудь чувствительности».

На самом деле вся эта пестрая толпа монмартрских рабочих в этот момент вовсе и не могла быть опасна: тут мы видим и профессиональных нищих, и слуг без места, и пришлых из деревни крестьян, и вчерашних самостоятельных цеховых мастеров, разоренных уничтожением цехов и дурными для торговли временами. «Я видел», пишет в своих записках мэр города Парижа Балли: «кушцов, лавочников, ювелиров, которые умоляли о милости быть допущенными к работам по двадцати су в день». В этой толпе несчастных, изголодавшихся людей, еще вчера не имевших между собою ничего общего, конечно, не могло быть никакой сплоченности, и все опасения муниципалитета оказались неосновательными.

Благотворительные мастерские, расбросанные в разных концах Парижа, продолжали существовать. Бурное движение народа 5 и 6 октября из Парижа в Версаль, окончившееся переездом короля и перенесением заседаний Национального собрания в Париж, показывало ясно в каком возбужденном состоянии находилась столичная беднота: ведь, все это движение сильнейшим образом поддерживалось уверенностью, что с переездом короля в Париж в столице явится хлеб. Приверженцы реформ, заседавшие в Собрании и опять было начавшие опасаться враждебных действий со стороны стягивавшихся в Версаль войск, учли события 5 и 6 октября, как свою победу, но всякие дальнейшие поползновения парижской голодающей массы в ту же «лень 1789 года проявить свою неудовлетворенность сочувствия с их стороны не встретили. Самые мастерские (благотворительные) просуществовали до 16 июня 1791 года, когда они были уничтожены декретом Национального собрания. Причины уничтожения мастерских было несколько. Во-первых, скопление громадной массы рабочего люда продолжало беспокоить власти, хотя рабочие вели себя совсем тихо. В 1790 году число

их все возрастало. В октябре 1790 г. их числилось в этих мастерских 19 тысяч человек. В зимние месяцы 1790—1791 г.г. их число доходило до 31 тысячи человек, и ежемесячно приходилось тратить на них до 800 и даже 900 тысяч ливров.

Это обстоятельство было *сторою* причиною, возбуждающею в правящих кругах недовольство против благотворительных работ. Указывалось при этом на «лень» рабочих, но тут же делались оговорки, что, в сущности, и работы для них в должных размерах достать невозможно, особенно зимою. Чисто же благотворительные постоянные расходы, в миллионных размерах и все увеличивавшиеся, правительство нести не желало. Хотя дамоклов меч давно уже висел над благотворительными мастерскими, но обрушился он на них лишь в 1791 году, когда особенно сильно стала влиять *третья* причина недовольства мастерскими: опасение властей, что они лишают частных предпринимателей нужных им рабочих рук. Это третье обстоятельство, однако, будет непонятно без ознакомления с теми событиями, которые произошли в рабочей среде весною 1791 года.

III.

Прежде всего, необходимо принять во внимание один в высшей степени важный факт: второй и третий годы революционной эпохи — 1790 и 1791-ый — были весьма не похожи на первый — 1789-ый.

Во-первых, в 1790 и 1791 г.г. были почти повсеместно хорошие урожаи, что в такой земледельческой стране, как Франция, сразу же отразилось на всем и, прежде всего, на положении промышленности и торговли, — покупательные способности внутреннего рынка сразу повысились. Во-вторых, внешняя война с коалицией европейских держав еще не началась (она, как известно, началась лишь в 1792 г.), так что внешний сбыт еще не закрылся окончательно и перетуганные-было заграничные клиенты, прекратившие заказы

в 1789 г. под влиянием бурных событий, — снова повсюду стали обращаться в Париж, Лион, Руан, Седан, Амьен — за товарами. В-третьих, общее политическое положение внутри страны в 1790 и в первой половине 1791 года было несравненно лучше, чем в 1789 году. Это была как бы передышка между бурным началом революции в 1789 году и еще более бурным ее продолжением в 1792 и следующих годах. Беспорядков на улицах не происходило, жизнь, казалось, вошла в новые берега, двор примирился с прошедшею переменою, Собрание деятельно работало над выработкою конституции, реформами в управлении и т. д. Даже люди, очень радикально настроенные, заявляли в 1790 г.: «революция окончена». Все эти обстоятельства были чрезвычайно благоприятны для оживления промышленной деятельности в стране вообще. Кроме того, было еще одно особое условие, способствовавшее улучшению положения рабочих: в столице (да и в других городах) в 1790—1791 г.г. началось заметное оживление строительной деятельности. Это объясняется, отчасти, тем, что слишком большое количество ассигнаций, выпущенное Национальным собранием, подорвало их цену, и состоятельные люди стремились поскорее вложить свои капиталы в недвижимость, во избежание дальнейшего падения денежного курса и потерь, связанных с ним; отчасти, могло тут играть роль и то, что в 1789 г. строительный сезон, так сказать, совсем почти не состоялся, и в следующие, более спокойные, годы возводились постройки, отложенные в 1789 году. Так или иначе — строительные рабочие были нарастают уже в 1790 году, а особенно в 1791 году.

Наконец, хорошие урожаи, кроме общего их благотворного действия на оживление промышленности и торговли, оказывали еще влияние более непосредственное на положение рабочих: земледелие требовало рабочих рук, и в 1790—1791 г.г. происходил некоторый отлив рабочих из городов в деревни.

Такова была та экономическая почва, которая сделала

возможным обширное стачечное движение 1791 года в столице. Это движение было бы, конечно, совсем немыслимо в годину упадка промышленности, когда предложение рабочих рук далеко превышало спрос на них. Я нашел одно известие, указывающее, что уже в 1790 году в Париже была стачка столяров и что бастующие даже в печатном воззвании просили секции (участковые собрания) города Парижа изгонять из своей среды нарушителей этой стачки (см. мою книгу «Рабочий класс в эпоху революции», т. I, 135—136). Есть у нас также довольно отрывочные и глухие известия, что в том же 1790 году происходили побоища между одним из рабочих товариществ (о которых рассказано мною выше) и необходимыми в его состав рабочими, и тоже, повидимому, из-за нарушения последними запрета работать у тех или иных хозяев. Нужно, впрочем, сказать, что эти, возникшие на почве цеховой организации, рабочие товарищества отжили свой век вместе с падением всей цеховой системы. Они и при революции были запрещены и — кроме двух-трех известий — о них ровно ничего не слышно за весь рассматриваемый период. Во всяком случае, из только что упомянутых известий 1790 года о драках между одним таким товариществом (*les compagnons du devoir*) и посторонними рабочими нельзя вывести заключения о том, что дело шло о какой-либо стачке.

Известия о настоящем стачечном движении начинаются с весны 1791 года. Это движение рисуется документами в такой последовательности. Прежде всего стачка вспыхнула среди плотников и типографских рабочих: плотники воспользовались строительным сезоном, а типографские рабочие были в большом спросе вследствие громадного развития газетной и брошюрной прессы в эти годы. 14 апреля 1791 г., с разрешения муниципалитета, плотники собрались и пригласили хозяев, чтобы предъявить им требование об увеличении заработной платы. Они требовали минимальной платы в 50 су (т. е. 2 франка 50 сант.) вместо 30—40 су, которые большинство из них получало (1 фр. 50 сант. -

2 фр.). Они мотивировали это требование повышением цен на предметы первой необходимости, которое вызывалось падением ценности ассигнации.

Хозяева не пришли на заседание, — и рабочие объявили стачку. За плотниками последовали другие рабочие-строители, затем типографские рабочие, потом башмачники, столяры, каменщики, кузнецы и т. д. Стачка в короткое время охватила, если верить одному показанию, — до 80 тысяч человек столичных рабочих.

Хозяева обратились в муниципалитет с просьбою восстановить порядок и понудить рабочих к прекращению стачки. Департамент полиции (le departement de la police, заведывавший поддержанием порядка) выработал текст обращения к рабочим, который и был опубликован от имени муниципалитета. В заявлении говорится, что муниципалитету известно, что рабочие ежедневно собираются в очень большом количестве, сталкиваются, «вместо того, чтобы употребить свое время на работу, и произвольно устанавливают таксу платы за рабочий день». Некоторые рабочие, далее, ходят по разным мастерским, сообщают там свои постановления и употребляют угрозы и насилия, чтобы увлечь за собою и заставить других бросить работу. Между напимателем и рабочим должна царить полная свобода соглашения. «Каждый рабочий, когда он является к собственнику или предпринимателю, должен быть совершенно волен запрашивать у него плату, которую, как он думает, он может получить. Но он может домогаться этой платы только для себя лично, он может ее требовать только когда о ней добровольно условились. Если бы было иначе, то не было бы справедливости и, следовательно, не было бы свободы... «Все граждане равны в правах. Но они не равны и никогда не будут равны по способностям, талантам и средствам: природа не пожелала этого. Следовательно, им нельзя обольщать себя надеждою на равные для всех заработки».

Вот почему стачка, направленная к установлению оди-

наковых цен, является «со всех точек зрения истинным преступлением». Закон, — говорится дальше в заявлении муниципалитета, — уничтожил цехи, — так может ли закон разрешать соглашения между рабочими, которые тоже явились бы воскрешением монопольных привилегий и отдали бы все общество во власть небольшого числа соучастников подобных соглашений? Муниципалитет заканчивает, выражая надежду, что введенные в заблуждение рабочие опомнятся и не доведут власть до необходимости «пустить в ход средства, которые давы муниципалитету для обеспечения общественного порядка». Воззвание не привело к ожидаемому результату. Стачка быстро разрасталась. Хозяева снова обратились к властям с просьбами о решительных мерах. Тогда муниципалитет издал (4 мая 1791 г.) новое, писанное уже в более суровом тоне, обращение ко всему бастующему рабочему населению столицы. В этом обращении указывается, что первое заявление, как власти убедились, не произвело действия; что в некоторых мастерских происходят насилия, и все это продолжает пугать граждан, удаляет из Парижа богатых собственников, нарушает общее спокойствие. В виду этого муниципалитет объявляет «уничтоженными, несогласными с конституцией, необязательными» решения рабочих, запрещающая всем другим рабочим работать по прежней расценке; отныне воспрещается принимать впредь подобные решения, напоминает, что никакого принуждения в установлении заработной платы быть не должно; наконец, объявляются нарушителями общественного спокойствия все рабочие, которые будут собираться и мешать работам. Виновные должны немедленно арестовываться и предаваться суду.

Из всех рабочих Парижа в эту пору имели нечто похожее на организацию лишь типографщики («Типографский клуб») и плотники. Обе эти организации существовали под флагом «благотворительности», но, судя по ненависти, которую к ним питали хозяева, дело было не в благотворительности, а в поддержке стачечного движения. К со-

жалению, не осталось ни единого документа, который мог бы нам пояснить, кто входил в эти две организации, как они управлялись и т. д. Мы только знаем об их существовании весной 1791 года и о вероятной их гибели тогда же, вместе с окончанием стачки.

Рабочие, после второго обращения к ним со стороны муниципалитета, подали от себя петицию мэру Парижа Бальи. Они отрицают взводимые на них обвинения в насилиях и просят муниципалитет потребовать счетные книги хозяев и убедиться, насколько велики барыши хозяев и как, следовательно, законны домогательства рабочих. Мэр указал, что нужно немедленно вернуться к работе.

Дело не могло окончиться благополучно для рабочих ни в каком случае. Новые власти, выдвинутые революцией, все правящие круги вообще, — были решительно убеждены в полной недопустимости каких бы то ни было, даже самых мирных, стачек, коллективных соглашений и выступлений рабочих. Мало того: даже наиболее демократически настроенные круги общества относились к таким шагам рабочих вполне отрицательно. Во всей огромной политической прессе того времени — только одна газета («Les revolutions de Paris») поместила статью по поводу происшедшей стачки, и этот резко радикальный орган тоже говорит, что вмешательство третьего лица между рабочим и работодателем «тиранично и абсурдно», следовательно, стачка недопустима. Мало того: никакое — даже чисто-профессиональное — общество рабочих не может быть терпимо: «Мы должны сказать правду, — собрание, куда могут быть допущены только люди, занимающиеся одною и тою же профессией, оскорбляет новый порядок вещей, оно (своим существованием) омрачает свободу; изолируя граждан, оно делает их чужими отечеству; уча их заниматься самими собой, оно заставляет их забывать общее дело; словом, оно стремится увековечить тот эгоизм, тот корпоративный дух, который хотели уничтожить вплоть до названия, ибо он — смертельный враг общественности». Это писала газета,

которая, вместе с тем, не скрывала своего сочувствия, по существу, к желанию рабочих получить прибавку. Но всем партиям в эпоху революции в той или иной мере свойственна была подозрительность ко *всяким* организациям, обществам и т. д., словом ко всему, что служит как бы посредствующим звеном, средостением, между государством и индивидуумом, личностью.

Стачка продолжалась. Крутые меры принимались неукоснительно, начались аресты в рабочей среде, по некоторым известиям тюрьмы были *наполнены* бастующими. Но предприниматели, видя, что стачка держится уже второй месяц, решили обратиться непосредственно в Национальное собрание с просьбою о помощи против рабочих и, в частности, против того общества, которое существовало у плотников. Рабочие от себя тоже представили объяснительную записку, в которой указывали, что они всецело послушны законам, что хозяева клеветают на них, что их организация — чисто благотворительная и т. д., они уверяли Национальное собрание в своем патриотизме и просили о милостивом отношении к их нуждам. Кроме плотников, подавали петицию еще кузнецы и рабочие железоделательных предприятий; они просили не только обратить внимание на ничтожную плату в 30 су, которую они получают, но и на рабочий день, непомерно продолжительный (с 4 ч. утра до 7 ч. вечера); они просили об установлении минимальной платы в 36 су (одно су = 1³/₄ коп.; 36 су = 1 фр. 80 сантимов), а также о сокращении рабочего дня до 13 часов.

Но судьба стачки и всех рабочих домогательств была предрешена: Национальное собрание поручило члену «комитета конституции» Ле-Шапелье выработать общий законопроект по вопросу о стачках.

Ле-Шапелье был видным представителем правящих кругов буржуазии, отнявшей в 1789 году власть у королевского правительства и безраздельно царившей в этот момент во Франции. Ле-Шапелье не только ненавидел самую

идею каких бы то ни было сообществ и группировок граждан, но и явно посмотрел на поручение, данное ему, как на весьма существенную меру, способную немедленно прекратить уже два месяца происходившую в Париже огромную стачку. Таким образом, цели его законопроекта имели, помимо всего, еще и непосредственное, боевое значение. В несколько дней был изготовлен доклад и проект закона, — и 14 июня (1791 г.) Ле-Шапелье внес его на рассмотрение Национального собрания. Рассмотрим этот закон, которому суждено было просуществовать в полной силе во Франции почти семьдесят пять лет (до 1864 года).

Ле-Шапелье в своем докладе констатирует, что среди рабочих распространяется стремление к образованию недопустимых, по его мнению, сообществ и соглашений. По его словам, эти новые сообщества явились бы продолжением прежних товариществ рабочих (в пору цехового порядка). За докладом он прочел проект закона, который прошел тотчас же, почти без прений (если не считать прениями 2—3 незначущих замечания) Вот содержание этого в высшей степени важного законодательного памятника, который оставался так долго в полной силе и целые десятилетия служил основой для всяких мероприятий, касающихся рабочего класса.

Статья первая провозглашает, что уничтожение каких бы то ни было корпораций граждан одной и той же профессии есть — одна из основ французской конституции, а потому воспрещено восстанавливать подобные корпорации. Во второй статье воспрещается как предпринимателям, так и рабочим, устраивать собрания, выработать регламенты и т. п. «относительно их *так называемых* общих интересов». В третьей статье всем властям воспрещается принимать какие бы то ни было заявления, петиции и т. п. подаваемые от коллективного имени людей какой-либо профессии. Четвертая статья карает самое участие в стачке даже если стачка вполне мирная и если данное лицо ничуть не мешает работать другим: кара — 500 франков штрафа

и лишение политических прав на один год. Пятая статья строго воспрещает всем властям допускать в благотворительные мастерские тех рабочих, которые из-за стачки покинули места, где прежде работали. Шестая статья карает штрафом в 1000 ливров и трехмесячным заключением всех, кто будет расклеивать, раздавать и, вообще, распространять плакаты, содержащие угрозы против предпринимателей или не-бастующих рабочих. Седьмая статья приравнивает покушающихся на свободу чужого труда путем угроз или насилий к нарушителям общественного мира, а восьмая — приравнивает к мятежным сборищам и облагает соответствующими наказаниями сборища рабочих, имеющие целью нарушить свободу труда, — т. е. всякое сопротивление стачечников полиции дает право властям немедленно провозгласить военное положение и пустить в ход вооруженную силу.

Закон прошел — и рабочим оставалось только смириться. Ни один голос не поднялся ни в Собрании, ни в прессе в защиту их интересов. Стачка окончилась бесшумно и бесследно около того же времени: больше о ней никаких известий нет. Закон, прошедший в Собрании 14 июня 1791 г., был подписан королем 17 июня и тотчас же вошел в силу. Только спустя 73 года простое участие в мирной стачке перестало во Франции считаться преступлением. Вообще, на очереди дня весной и летом 1791 г. в правящих кругах была политика твердой власти, и никакие уступки не допускались. Одновременно с законом Ле-Шапелье прошел (16 июня 1791 г.) проект, предложенный членом Национального собрания Ларошфуко-Лианкурром, — об уничтожении благотворительных мастерских. Я уже выше отметил те причины, которые давно, еще с осени 1789 г., т. е. с первых же времен открытия этих работ, делали существование «благотворительных мастерских» шатким: беспокойство властей по поводу слишком большого скопления рабочей массы в столице и огромность расходов на содержание всего этого безработного люда. Я сказал также, что была и третья причина, — и теперь, после всего,

что было сказано о стачечном движении 1791 года, эта третья причина читателю должна быть ясна: власти желали помочь хозяевам в их борьбе со стачечниками, и лучшим способом казалось такое мероприятие, которое разом выбрасывало на рынок труда два десятка тысяч человек. Закрыть мастерские — и значило доставить хозяевам заместителей ушедших стачечников. Декрет о закрытии благотворительных мастерских прошел в тот же день, как был внесен, — и благотворительные мастерские перестали существовать.

Во время обсуждения вопроса о их закрытии один из членов Собрания выразил опасение, как бы не возникло волнение среди рабочих закрываемых мастерских, которые очутятся без куска хлеба. Спросившего об этом успокоили, указавши ему, что власти предупреждены и отвечают за порядок. Мэр Балли тоже несколько беспокоился и утверждал даже, что «один только проект уничтожения мастерских вызывает ропот, уже веет дух возмущения». Но эти тревоги оказались напрасными. Рабочие приняли участие беспрекословно, если не считать возникшего было (3 июля 1891 г.) и тотчас же прекратившегося брожения. Рабочие, оставшиеся без куска хлеба, подали в Собрание две петиции. «Мы убеждены, что патриотизм побудил вас закрыть мастерские, потому что их изображали пред вами, как прибежище для разбоя; мы не будем спорить, что в мастерских были подозрительные люди но — за что мы отвечаем — это, что большинство очень добрые патриоты, на которых нация не может пожаловаться и которые пожертвуют всею до последней капли крови для подержания конституции», так писали они в первой петиции; вторая написана речью («они вам кричат все, — и это крик 25 тысяч людей, три четверти которых имеют в столице жен и детей, — чтобы вы восстановили благотворительные мастерские и т. д.). Никакого внимания на эти петиции обращено не было. Отчаяние и раздражение уволенных нашли себе исход не в беспорядках по поводу закрытия мастерских, а совсем в дру-

гом движении: по показаниям современников, многие из рабочего люда погибли при манифестации 17 июля (того же 1791 года). Но раньше, чем напомнить об этом событии, нужно сказать несколько слов о политическом унастроении рабочего класса в эти первые годы революции.

IV.

Вопрос этот — весьма нелегкий. Сразу же необходимо указать, что в эти годы (1789—1791) рабочие проявляли равнодушие к чисто-политическим вопросам, волновавшим в эти годы как буржуазию, так и побежденных ею, бывших привилегированных (и, прежде всего, дворянство, отнюдь еще не намеревавшееся отказаться от борьбы). Правда, они в эти годы всегда выступают на стороне буржуазии — против «аристократии», «двора», «привилегированных», — но, как уже было отмечено, не им, а, именно, буржуазии принадлежала всегда инициативная роль. Напротив, они теряются, робеют, ясно сознавая полное свое бессилие, когда им приходится действовать за себя и от своего собственного имени. Конечно, они всегда в течение всего революционного периода либо горячо боролись за ту партию, которая начинала думать о перевороте, либо, если прямо не вмешивались, то с полным равнодушием смотрели на падение одного режима и замену его другим: они так тяжело себя чувствовали в настоящем, что всегда ждали лучшего только от перемены, в чем бы она ни заключалась. В 1789 году они с жаром защищали «партию реформ», «партию народа» против «двора»; в 1792 году — приняли деятельное участие в провозглашении республики; в 1793 г. поддержали монтаньяров против жирондистов; в 1794 г. с полным равнодушием встретили падение Робеспьера — и тотчас же возложили свои надежды на новых господ, в 1799 году с восторгом приветствовали генерала Бонапарта, ниспровергшего республику и заменившего ее военною диктатурою (хотя на время и сохранившего самое название республики) Ни-

каких прочных политических убеждений или идейных привязанностей во французском рабочем классе мы не можем найти в эту эпоху; массы переходили из-под одной власти — под другую и вечно молили своих новых господ о помощи. Потом озлоблялись, мрачно терпели и ждали и, когда на горизонте вырисовывалась новая сила, — с новыми надеждами и восторгами спешили к ней и помогали ей. Вот почему так и вышло, что то самое Сент-Антуанское рабочее предместье, которое выдвинуло в 1789 г. наиболее страстных бойцов в день взятия Бастилии, а в 1793 году считалось главной опорой монтаньяров, — спустя несколько лет так бурно праздновало победу Бонапарта при Маренго, что даже полиция изумлялась и отмечала это особое, неслыханное ликование.

От этих общих соображений обратимся к эпохе Национального учредительного собрания, к 1789—1791 г.г., о которых в этой главе идет речь.

Национальное собрание установило деление граждан на полноправных, *активных*, — и пассивных, не имевших права голоса при выборах. В число активных вошли все те, которые, во-первых, живут в данном кантоне не менее одного года, во-вторых, не состоят в услужении (в качестве прислуги), и, в третьих, уплачивают особый годовой прямой налог в размере стоимости трех рабочих дней. Этот *цenz* оказывался для многих и многих рабочих слишком высоким. Рабочие Сент-Антуанского предместья в особой петиции жаловались на несправедливость, но наперед заявляли, что во всем полагаются на мудрость Национального собрания. «Если ваша мудрость сочтет нужным благоприятно отнестись к нашей просьбе, мы будем счастливы, — не ошиблись. Если произойдет обратное, — законодатели! — наше непоколебимое усердие будет лишь более активным и более гражданственным; вы всегда увидите в нас своих усерднейших защитников»... «Удостоьте принять в соображение, что бедность — есть бич массы, — а она (масса) составляет две трети французского населения. Если первая треть есть нечто,

или может кое-чем стать, а две другие — ничто, то, ведь, первая (значит) пользуется всеми благами, начертанными в новых законах, в то время как две другие, совершенно пассивные, прозябают в полнейшем ничтожестве». Но петиционеры считают вполне нормальным самый распорядок, царящий в обществе: «Контраст богатства и бедности делает их полезными друг для друга. Если бы никто не был беден, — никто не был бы и богат». А между тем, богатые люди, «удовлетворяя своим вкусам, своим капризам, своим излишним потребностям», дают тем самым заработок бедному. (Это — в высшей степени характерное место, вполне соответствующее общим социальным воззрениям рабочего класса в ту эпоху: *основы* социально-экономической жизни они, в общем, считали вполне нормальными и как бы предустановленными из века). Нечего и прибавлять, что *цenz* уничтожен не был.

Правящие, более умеренные, круги буржуазии, отнюдь не расположены были делиться с городской беднотой только что отвоеванную власть. Более демократически настроенные слои общества — ни в Собрании, ни в радикальной прессе не ставили на очередь дня какой-либо дальнейшей демократизации политического строя и т. д. Относительно стачки 1791 г. они все (за единственным исключением) молчали, а единственная высказывавшаяся радикальная газета признала совершенно недопустимым рабочие организации и соглашения. Камилл Демулан. Марат, еще кое-кто могли напечатать две—три статьи о необходимости уничтожить *цenz*, но о стачке 1791 г., о законе Ле-Шапелле, который был для рабочих несравненно важнее, чем закон о *цenze*, — ни Марат, ни Демулан, ни Горза, — словом, никто из радикальных деятелей и журналистов не сказал ничего. Рабочей прессы в точном смысле слова не существовало. Я нашел в Национальной библиотеке несколько ММ выходящей и прекратившей в 1791 г. газеты наборщиков «Club typographique», профессиональной по существу и избегавшей политических во-

вросов, — но за этим ничтожным исключением — ничего назвать нельзя (да и этот «Club typographique» и в те времена никем не цитировался и никакого влияния его уследить нельзя). — Остается еще рассмотреть вопрос об отношении, какое проявляли к рабочим приверженцы старого строя, побежденные в 1789 году, но вовсе еще не потерявшие надежды на лучшие времена.

В Национальной библиотеке и Национальном архиве в Париже я нашел явные следы контр-революционной пропаганды, действовавшей в рабочей среде и рассчитанной на отвлечение рабочих и на внушение им вражды к новым порядкам *). Вели эту пропаганду приверженцы аристократии, но приемы в ход они пускали самые демагогические. Вот некоторые выдержки из этих анонимных листов и памфлетов, которые тайком пускались в обращение в рабочих кварталах. Прежде всего, благодарным предметом для контр-революционной пропаганды послужили речи о голодовке, об экономическом кризисе первого года революции. «Я содрогаюсь, когда думаю о том, что станется с бедным народом, с этими рабочими, с этою массою прислуги, оставшейся без дела», — пишет один памфлетист, — «богатые люди одни только их поддерживали... Собрание (Национальное) их разоряет, как бы изгоняет их... «Поистине ужасно причинять такое зло народу; но есть мстящий Бог».

В другом памфлете — автор уверяет, что хлеба народу остается на 2—3 месяца, а затем придется питаться жолудями. А вся вина — новых властей: они расхищают народное достояние. Если народ умирает от голода, то вследствие преступной роскоши новых властей. Горе муниципалитету, когда народ узнает, что он голодает из-за роскошной жизни мэра Бальи и других должностных лиц! В третьем памфлете автор пишет, что вырабатываемой Национальным се-

бранием конституции никогда не будет на самом деле. «О, драгоценная конституция, когда же ты придешь?» — вопрошает он. Любопытно, что, при всем желании, эти агитаторы не могут восхвалять пред рабочими старый порядок, не могут назвать какое-либо действие бывшего правительства, направленное на благо рабочего класса, и не решаются наперед опорочивать конституцию: они лишь утверждают, что это один обман и что никакой конституции никогда не будет, а всю полноту власти будут пользоваться мэр Бальи, муниципалитет Парижа, Национальное собрание, — которые все вместе эксплуатируют народ. Были попытки и устной пропаганды, и в полицейских бумагах того времени сохранились следы дознаний, возбуждавшихся по этому поводу. Но здесь не место останавливаться на этих подробностях.

Имела ли эта пропаганда успех среди рабочих? Никого, хотя у нас есть данные, что среди некоторых категорий рабочего класса (позументчиков, ювелиров, столяров, выделывавших роскошную мебель, — словом, среди занятых выделкою предметов роскоши, наиболее пострадавших от революции и вызванной ею эмиграции), иногда и слышен был ропот и настроение царило самое подавленное. Но слишком чужды и подозрительны были рабочим аристократические пропагандисты, довольствовавшиеся к тому же исключительно критикою новых властей, однако, не сумевшие никакого улучшения, не дававшие никаких обещаний. Повидимому, муниципальные власти все-таки обратили внимание на эту пропаганду, и в народ был пущен особый листок, советовавший рабочим не верить аристократам. Если бы рабочие захотели «сражаться с буржуа, то Франция от этого была бы несчастна», и аристократы этим все-таки зовали в бы, чтобы снова наложить иго на народ; а потому он и дает рабочим совет: «держаться спокойно и вполне доверять господам из городской ратуши (т. е. муниципальным властям), которые хотяг нам добра и понимают в этом гораздо больше, чем мы, так как: они были выбраны всем Парижем».

*) См. мою работу: La classe ouvrière et la propagande contre-révolutionnaire sous la Constituante» в журнале «La Revue ouvrier» (под ред. Олара), 1909, а также I том моей книги „Рабочий класс во Франции в эпоху революции“.

Хотя, в общем, контр-революционная пропаганда среди рабочих не привела к каким-либо результатам, но нельзя сказать, что она осталась совсем без откликов. Когда после взятия Тюильрийского дворца 10 августа 1792 г. в руки властей попал «железный шкаф» с секретными документами, то в их числе оказался адрес, присланный королю за 300 подписей рабочих, в высшей степени любопытного содержания. Подписавшие адрес жалуются Людовику XVI на «полное исчезновение звонкой монеты», на отсутствие знати, «удовольствия и капризы которой питали торговлю», и т. д. Подписавшие адрес объявляют себя разочарованными революцией. «Где те, участь которых улучшилась? Свобода, равенство — это химеры, создавшие все зло, первыми жертвами которых будем мы, наши жены и дети». Они «умоляют короля» пустить в ход всю свою силу, «чтобы восстановить равновесие между ценою на продукты и размерами заработной платы». Но подобного рода других заявлений со стороны рабочих до нас не дошло.

Во всяком случае, в тот новый период революции, который начался летом 1791 года, рабочие в своей массе опять оказались на стороне врагов аристократии.

У.

20 июня 1791 г. король тайно оставил Тюильрийский дворец с целью уйти за-границу. Это было внезапным объявлением войны Национальному собранию со стороны двора, так как было очевидно, что королем воспользуется как эмиграция, так и иностранная дипломатия, чтобы повести атаку против Франции и новых французских порядков. Правящая буржуазия без колебаний подняла брошенную перчатку. Уже 22 июня Париж узнал, что король задержан в Варенне. Вскоре затем он прибыл обратно, в Париж.

Это неудавшееся бегство сыграло роковую роль в судьбах монархии; именно с того времени начинается распространение республиканских тенденций в стране. Но пока

большинство Национального собрания было решительно против изменения формы правления; оно желало закончить разработку конституции и оградить также впредь спокойствие, которое царило уже более 1½ лет в стране. Более радикально настроенные элементы столицы волновались, незвольные слишком, по их мнению, большою терпимостью и снисходительностью Собрания, требовали судебного расследования бегства, низложения короля и т. д. Собрание не допускало приема депутаций, приходивших к нему, чтобы поддержать это требование, не читало петиций и твердо стояло на своем. Якобинский клуб после некоторых колебаний отказался от мысли взять в свои руки руководство движением. Известно, чем кончилось дело. Руководители движения (все малоизвестные, неотчетливые люди) созвали на 17 июля всех, желающих подписывать массовую петицию о низложении короля.

Рабочие, которые не чувствовали себя в силах продолжать стачку после закона Ле-Шапеллье прошедшего ровно за месяц до того, которые вопреки опасениям муниципалитета покорно приняли известие о закрытии благотворительных мастерских, — теперь, 17-го июля, пошли манифестировать против короля, хотя никакими неистовыми республиканскими страстями они вовсе не были обуреваемы; пожалуй (несмотря на то, а может быть, именно, потому), что в данном случае не их была инициатива, как не их была инициатива и при взятии Бастилии в 1789 году и при провозглашении республики 10 августа 1792 г. Но настроение, созревшее в буржуазных слоях 10 августа 1792 г., еще только начиналось 17 июля 1791 года. Манифестация 17 июля вызвала со стороны властей немедленное провозглашение военного положения и расстрел толпы в упор окружившими ее со всех сторон отрядами национальной гвардии.

1791 год после этого окончился для рабочих при подавленном настроении, но без каких бы то ни было выстулений. С осени 1791 г., а особенно с весны 1792 г.,

их экономическое положение сразу ухудшилось. С одной стороны, война с Европою, начавшаяся весной 1792 г. сразу прекратила весь заграничный сбыт; с другой стороны, обесценение бумажных денег прогрессировало безостановочно, предметы первой необходимости возрастали в ценс не по дням, а по часам; наконец, явное оживление среди приверженцев возвращения старого порядка, неминуемая, очевидная для всех перспектива междоусобной войны — все это сокращало внутренний сбыт, заставляло капиталы прятаться или удаляло их из Франции. После краткого перерыва 1790—1791 г.г. для рабочих надвигался период долгой голодовки, отчаянной нищеты, страданий, в которых рабочий класс помнил несколько поколений. К этому периоду мы теперь и перейдем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Подготовка закона о максимуме — Жироидисти и монтаньяры и их отношение к проекту закона — Установление закона о максимуме.

Уже в 1792 году под влиянием указанных причин, — недостатка сбыта, а потому сокращения производства, и вздорожания съестных припасов, — положение рабочих в столице и городах стало делаться невыносимым. Но в конце 1792 г. и, в особенности, с 1793 года прибавилась еще одна, серьезнейшая причина, которая могущественно способствовала дальнейшему сокращению целого ряда производств, совсем даже независимо от размеров сбыта: я говорю о недостатке сырья. Причины этого явления весьма понятны. Во-первых, война с Англиею, начавшаяся в 1793 году, отрезала Францию от заморских колоний, так как сообщения сделались в высшей степени рискованными, вследствие подавляющего преобладания английского флота, и, вообще, морская торговля Франции оказалась под постоянную опасность; это обстоятельство почти вовсе лишило Францию хлопка и некоторых незаменимых

в те времена красящих веществ, вроде индиго, — следовательно, должны были приостановить работы бумагопрядильни, ситценабивные мануфактуры, красильни. Во-вторых, война с континентальною Европою, начавшаяся еще в 1792 году, лишила Францию подвоза шведского, австрийского, русского железа и меди и нанесла этим тяжкий удар и без того слабой французской металлургии. В-третьих, страшный кризис сырья постиг кожевенное производство: количество сырой кожи, которое стоило еще в январе 1792 года 30—32 франка, вдруг повысилось в цене в апреле — мае того же года *вдвое* и дошло до 60—65 ливров. В-четвертых, производство бумаги стало уже с половины 1792 года сокращаться за почти совершенным отсутствием нужного тряпья. Даже современники терялись в догадках, решительно недоумевая, чем объяснить это исчезновение тряпья: казалось бы, и война, и политические потрясения — были тут не при чем. Но факт остается фактом, и выдающиеся члены Законодательного собрания с трибуны заявляли о грозящей беде. Были и еще кое-какие производства (напр., химических продуктов), жестоко страдавшие уже с 1792 г., а особенно с 1793 года, от недостатка сырья. Жесточайше пострадало — и уж на этот раз можно говорить смело о недостатке сырья, как об *исключительной* причине невзгоды — мыловарение; правда, эта отрасль промышленности была сосредоточена почти исключительно в Марселе, и если кризис мыловарения приобрел в 1793—1794 г.г. характер прямо общенационального бедствия, то это произошло из-за губительных последствий недостатка мыла для народного здравия, но не из-за того, что сколько-нибудь значительная масса рабочих осталась без куска хлеба. Во всяком случае, спрос был, но не было оливкового масла и других веществ, нужных для этого производства.

Итак, налицо была уже с 1792 г. жестокая безработица из-за сокращения производства, обусловливаемого либо недостаточностью спроса (на тонкие сукна, полотна, шелк, предметы роскоши), либо также недостаточностью и сырья (мыловарение). Другое зло, — дороговизна, доходило зимой 1792—1793 г.г. до совсем неслыханных размеров.

Неумеренно выпускаемые ассигнации совсем лишились кредита; они дошли до $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{10}$ своей номинальной стоимости. Владельцы хлеба и, вообще, сельскохозяйственных продуктов старались не выносить свой товар на рынок, а припрятывали его до лучших времен. Все, чем деревня снабжала город, стало крайне редко и недоступно. (Вот почему, между прочим, сырые кожи стали так недоступны кожевникам, а оливковое масло — мыловарам). Зима 1792—1793 г.г. при этих условиях оказалась для рабочих страшно тяжелой. Им угрожала голодная смерть, и притом угрожала гораздо явственнее, чем даже в бедственном 1789 году.

Конечно, о стачечном движении, в точном смысле слова, при таких обстоятельствах, не могло быть и речи. Осенью 1791 года и в 1792 г. можно назвать только 2—3 случая незначительного брожения между портвыми рабочими городов Бордо и Марселя, желавшими прибавления платы (причем они воспользовались случайными, местными, мимолетными, благоприятными условиями). Но в Париже стачки сделались уже совершенно невозможными.

Рабочие обращались с отчаянными слезными мольбами к Законодательному собранию, прося помощи. Когда пред 10 августа 1792 года Дантон и другие стали призывать в парижских секциях народ к низвержению монархии, голодная рабочая масса тотчас же откликнулась на этот призыв, — как всегда в эти годы, — ожидая улучшения своего положения от всякой перемены. Эта перемена произошла. Среди грозы неприятельского нашествия, 10 августа 1792 г. была провозглашена республика, — и одним из первых вопросов, с которыми пришлось считаться Конвенту, новому

Собранию, на первом своем заседании 20 сентября 1792 г., был вопрос о голодающем столичном населении. Правда, на некоторое время вопрос этот сделался не столь острым: военная комиссия Конвента решила устроить под Парижем укрепленный лагерь, с земляными окопами и т. д., так как казалось приближение неприятельского нашествия к столице. Эти работы могли продрать очень немногих, но, во всяком случае, давали надежду, безработные толпами устремлялись к лагерным работам. Но в муниципалитете довольно скоро стали смотреть на эти работы, дорогие столичные, — стали говорить о лени и «дармоедстве» рабочих, — и когда выяснилось, что неприятель к Парижу двинуться не в состоянии, лагерные работы были без дальнего проволочек закрыты (декретом 18 октября 1792 г.).

Тогда-то на очередь стал основной вопрос, давно уже проложивший умы рабочих. Это был вопрос о тысячной предельной цене первой необходимости, об установлении таких цен, при которых даже пышная жизнь бюджета предохраняла бы человека от голодной смерти.

С осени 1792 г. в Париж не переставали приходить слухи о том, что голодная толпа там, где она ослепительно яростна и грабит, — она с хлебом и дровами припасами. Правда, слухи уже таксировались муниципалитетами Парижа и других больших городов, — но этого оказывалось мало.

Власти осенью 1792 г. были более умеренная из двух соревнувшихся партий Бовенца — жирондисты, и один из их вождей, министр внутренних дел Ролан, упорно боролся против стремления голодающей городской массы добиться таксации всех предметов потребления. Что касается до якобинцев, крайних партии Бовенца, то они в течение нескольких месяцев не имели собственно мысли о таксации, прислушивались, соображали и колебались. Для них наступало время решительной схватки с жирондистами в борьбе за власть, — и в этой схватке, помощи парижской городской массы, могла сыграть решающую роль, да эту помощь возможно было приобрести, проведя желанные

закон о таксации. Ряд свидетельств показывает совершенно ясно, что внутреннего убеждения в необходимости и целесообразности таксации у монтаньяров не было, — и они пустились в ход обещания в этом смысле, исключительно в виде боевого орудия против жирондистов. А уже раз проведя эту меру, они решили извлечь из нея все, что только было возможно, в государственных целях. И как увидим, даже воспользовались ею, когда это им казалось необходимым, прямо во вред рабочим.

Между тем, все яснее и яснее становилось, что дальше медлить с таксацией будет трудно. В феврале 1793 года народ в Париже бросился громить лавки, требуя хлеба, мяса и мыла (в котором, как выше сказано, ощущался уже с 1792 г. гнетущий недостаток). 12 февраля в заседание Конвента явилась депутация, которая потребовала в высшей степени раздраженным тоном — таксацию («мы являемся сюда, не боясь не понравиться вам, являемся затем только осветить ваши ошибки», и т. д.). Но Конвент отнесся к этой дерзости с полным осуждением и даже намерен был арестовать депутацию (которая разбежалась). Однако, петиции, жалобы, волнения из-за съестных припасов — не прекращались. 18 апреля 1793 года все представители парижского муниципального самоуправления подали адрес, в котором просили Конвент об установлении таксации. Хлеб во многих департаментах стоит $7\frac{1}{2}$ су фунт, а рабочие получают дневного заработка там же — 30 су в день. «Пройдет еще два месяца, хлеб удвоится в цене. Что же делать?» Муниципалитет видел причины бедствия в обезпечении снабжения, а также в «нелюбовности военного и морского министерства», сккупивших сразу колоссальные количества хлеба для армии и флота, — и, кроме того, в махинациях спекулянтов, обскуляровавших на народном голоде. Единственное средство — в законодательном установлении цен, выше которых продавец не мог бы требовать с покупателя («максимум»). Конвент пока еще отделялся неопределенными обещаниями, но этого было мало. 1 мая 1793 г. была подана в Конвент

новая петиция от имени рабочих («обитателей Сент-Антуанского предместья»). «Уже давно вы обещаете всеобщий максимум на все припасы, нужные для жизни», — читаем мы в этой петиции. — «постоянно обещать и ничего не исполнять, удручать и утомлять народ — это значит лишать его возможности относиться к вам дальше с доверием» Рабочие подчеркивают, что они вовсе не враги частной собственности и они даже хотят как бы поддупнуть правящую и заседающую в Конвенте буржуазию: «супермаксимум будет установлен, и мы скоро сделаем для защиты вашей собственности еще больше, чем для защиты отечества»

4 мая 1793 г. Конвент издал (под влиянием монтаньяров, все больше склонявшихся к исполнению желаний парижских петиционеров) декрет, вводивший максимальную таксацию хлеба во всей республике. Цены устанавливаются директориями департаментов для каждого департамента отдельно. Всякое лицо, уличенное в умышленной порче или сокрытии хлеба, подвергается смертной казни; за продажу и даже за покупку (!) хлеба по цене сверх установленного максимума, виновный платит штраф от 300 до 1000 франков. Все земледельцы и торговцы хлебом обязаны были немедленно заявить местным властям о количестве имеющегося у них для продажи хлеба.

Но этот декрет был только первым шагом, не больше того. Во-первых, он касается лишь хлеба, а не всех предметов первой необходимости, во-вторых, основой оценки хлеба должна была служить средняя «рыночная» цена, правда, последовательно уменьшаемая в течение ближайших месяцев (1 июня на $\frac{1}{10}$, 1 июля на $\frac{1}{20}$ оставшейся цены, 1 августа на $\frac{1}{30}$ и 1 сентября еще на $\frac{1}{40}$). Но этот декрет, конечно, не мог удовлетворить людей, ожидавших такой таксы, которая сообразовалась бы с их дневным заработком, а вовсе не с рыночной ценою, хотя бы и уменьшенной.

Но вот, наступила развязка борьбы жирондистов и мон-

тапьяров: в толпе, оружившей Конвент по зову Марата 31 мая (1793 г.) и потребовавшей ареста жирондистов, рабочие составляли значительную массу. Эта толпа решила победу в пользу монтаньяров, но зато и требования таксации стали особенно настойчивыми с этого момента. И Конвент, очутившийся всецело в руках монтаньяров, решил, наконец, исполнить эти моленья, просьбы, угрозы

26 июля 1793 г. скупия предметов потребления, с целью спекуляции, была объявлена уголовным преступлением, караемым смертною казнью. Кто же «скупщики»? Закон 26 июля отвечает на это: «те, которые извлекают из обращения товары или припасы первой необходимости, покупая и держа их запертыми и не пуская их ежедневно и публично в продажу». Кто не сообщит властям об имеющихся у него для продажи предметах потребления в течение восьми дней с момента опубликования этого декрета, — тот же подвергается смертной казни. «Всякий гражданин, донесший на нарушителей этого закона, получает в награду треть конфискованного имущества казенного; другая треть идет в пользу бедных данной местности, третья — в пользу государства. Приговоры по этим делам не подлежат обжалованию и приводятся в исполнение немедленно. Затем.

19 августа были таксированы топливо, уголь, растительное масло, 20 августа — овес; декретами 29 августа, 11 сентября, 27 сентября — все новые и новые предметы потребления подвергались таксации. Наконец, 29 сентября 1793 года был издан знаменитый общий закон о максимуме, поведший под таксацию все предметы потребления.

Принцип закона был таков: в основу была положена цена данного предмета, бывшая в 1790 году, увеличенная на $\frac{1}{3}$. Из получившейся цифры вычитается сумма всех пошлин, какие еще действовали в 1790 г., но уже не действовали в 1793 г. Затем, к получившемуся остатку прибавлялись: 10% прибыли для торгующих в розницу или 5% — для торгующих оптом и, кроме того, расходы на перевозку данного товара из места производства в место

продажи. Выписывать и публиковать эти окончательные таксы обязаны были органы местного самоуправления по верховным контролем министра внутренних дел.

Уже при издании закона у Конвента возникло (оказавшееся совершенно справедливым) опасение, что купцы и фабриканты найдут разорительным продавать товар по искусственно-малой цене и что многие сразу прекратят торговлю и производство. Поэтому объявлено было, что всяким, кто посмеет прекратить производство или торговлю, будет поступлено, как с «подозрительными», т. е. он будет посажен в тюрьму и его будут держать там вплоть до «замирения», т. е. заключения мира с Европой, или до особого о каждом из арестованных постановления.

Времена стояли грозные; правительство было вооружено всею полною властью; за малейшее неповиновение, за призыв к возмущению — грозила гильотина. Никто из пострадавших от этого закона с самого начала и не думал протестовать.

Посмотрим теперь, каковы были судьбы рабочего класса в эпоху закона о максимуме, т. е. с 29 сентября 1793 года, когда закон был издан, до 24 декабря 1794 г. когда он был отменен.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Рабочий класс в эпоху закона о максимуме (1793—1794 г.г.).

I.

Вопрос должен быть рассмотрен с трех сторон: 1) как жилось в эпоху максимума потребителям (потому что, ведь, рабочие именно в качестве потребителей требовали издания этого закона); 2) каково было в эти годы состояние промышленности, так как от этого зависели размеры безработицы рабочих; 3) в какое положение поставила рабочего таксация его собственного труда, потому

что — спешу добавить — правительство, довольно неожиданно для рабочих, стало на ту точку зрения, что рабочий труд есть также товар, который, поэтому, тоже подлежит стро-гой таксации.

1. Что касается первого вопроса, то, на основании мно-гочисленных и совершенно неоспоримых доказательств, которые я нашел в архивных документах, удалось уста-новить, что положение потребителя не улучшилось, а ухуд-шилось от издания этого закона. Прежде всего, закон этот далеко не всюду исполнялся, несмотря на все строгости и угрозы. Еще можно было заставить хозяина мелочной лавоч-ки, или мясной, или булочной и т. д. продавать имеющийся у них товар по таксе (или «максимуму»), установленной властями, — но как заставить землевладельца привезти в го-род для продажи этим самым лавочникам — продукты из имения: хлеб, масло, молоко, мясо, сыр, овощи и т. п.? А продавать эти продукты по таксе значило прямо разо-ряться. Ассигнации до того упали в цене, что были такие месяцы, когда франк стоил, в действительности, одно су, т. е. $\frac{1}{20}$ часть номинальной своей цены. Что же значила цена по таксе при таких условиях! Гораздо проще было не засеять поля, не собирать урожая, чем работать весь год над землею и потом получить за это груды ничего не стоящих бумажек.

Конечно, опасно было прятать у себя в имении уже добытые продукты — за это (особенно, весной 1794 г., при усилении террора) грозила смертная казнь, и можно было ждать внезапных обысков, — но не добывать ничего из своей земли можно было безнаказанно, хотя и тут бывали случаи подозрительных расспросов и даже формальных дознаний (на каком основании не засеяна земля? почему превращено молочное хозяйство? и т. д.). Кроме недостатка деревенских продуктов, — и прежде всего, хлеба, овощей, молока, мяса, — население страшно страдало и от недостатка мыла. Как, уже было сказано выше, еще до максимума мыловарение стало сокращаться из-за недостатка сыра.

При максимуме это сырье, главным образом, оливко-вое масло, — сделалось совсем малодоступным. Марсель-ские мыловары рассеялись по свету, — и мыло исчезло из продажи. Начались болезни, распространялись страшные кожные язвы; белье, стираемое бумажками, возвращалось из стирки грязным.

Правительство посмотрело на это, как на серьезное национальное бедствие, и пробовало на казенный счет за-весте мыловарение, но ничего не выходило; техника мылова-рения, известная марсельским мыловарам, исчезла вместе с ними. (А сами они делали так быстро тоже потому, что не желали работать по ценам, определенным таксацией). Конечно, нечего было и думать о получении заграничного (итальянского) оливкового масла, которое прежде шло в обработку при мыловарении; ввоз товаров из-за границы был совершенно немислим в эпоху закона о максимуме, так как ни один иностранный купец не желал идти на такое разорение. Но все усилия властей заставить своих фран-цузских производителей оливкового масла продавать его мы-ловарам по таксе, — оставались совершенно тщетными. Пре-жде! право привозилось в правительственных возва-зках; республика страдает от отсутствия предмета первой необходимости; улучшение которого так способствует со-хранению здоровья, — у нас нет мыла, столь необходимого для человека, и нет его из-за алчных спекуляций и част-ных интересов! — Власти просили граждан помогать в не-делах преступных спекулянтов. «Горе преступникам, благо-душным закон, — честь и хвала доносителям, которые спо-собствуют пресечению зла!» Но все это не помогало. Единственное средство достать — для мыла, его цена за какие деньги достать было невозможно, — но другие предметы пер-вой необходимости, — заключалось в том, чтобы уградо-во стоговаться с продавцами и, заплативши взнос, входить, видя про-тив «максимальной» таксы, побудить их доста-вать нужный продукт. Разумеется, при страшной опасности такого рода сделок все это предприятие было очень

сложным и затруднительным; но богатые и, просто, хотя что-нибудь имевшие к этому способу прибегали; бедные — и в том числе рабочие — голодали и погибали. Власти снисредствовали, ища виновных. Казнили за сокрытие товаров, казнили за продажу сверх цены, казнили за один разговор об обесценении ассигнаций, но ничего из всех этих мер не выходило. Зерно, мясо, овощи, шерсть, лен — все это либо добывалось в гораздо меньших количествах, либо разными тайными, земными путями устремлялось за границу (несмотря на строжайшие запреты вывоза), так как только за границу можно было получить за свой товар платящую монетою, а не потерявшими почти всякое значение ассигнациями.

Итак, очень скоро после введения максимума городская беднота, которая так долго, с такими воплями, мольбами и угрозами требовала издания этого закона, поняла, что предметы потребления, сделавшись еще недоступнее, чем прежде. Еще в Париже правительство поддерживало особыми субсидиями булочников, и хлеб мог фактически продаваться по таксе; но и там, чтобы добиться покупки хлеба, часто было часами стоять в очереди. Изуревшие матери с голодными детьми стояли вереницами перед булочными; иногда падала от истощения на землю. В других местах и этого не было, и хлеб был так же недоступен, как всякий другой товар.

2. Но это было еще не все. Рабочие жестоко пострадали не только в качестве потребителей; их профессиональные интересы тоже пошатнулись от максимума. Дело в том, что этот закон являлся окончательный, для многих годовидный поправительный удар всему промышленному производству. После всего сказанного безачем останавливаться на причинах этого явления. Сырье, как мы видели, становилось редким еще до издания закона о максимуме. После издания этого закона оно во многих производствах вовсе исчезло. Исчезло привозное сырье: хлопок, индиго, железо, медь, тростниковый сахар, словом, все те товары, которые

еще могли прежде после многих опасностей на море (от англичан) или на суше (от континентальных врагов Франции) доставляться во Францию с надеждою на большую прибыль; — но, конечно, теперь, при максимуме, никому и в голову не пришло бы везти их, чтобы продать по фиктивной, ниточной цене. Таким образом, окончательно прекратили работу бумагопрядильни, железодельные заведения и вся связанная с ними металлургия, красильни, сахарные заводы. Далее. До издания закона о максимуме сравнительно мало страдали от недостатка сырья те производства, которые не нуждались в привозном сырье: шерстяно-суконная промышленность, полотняное, кружевное, кожевенное производство. Но теперь, при максимуме, промышленники не могли раздобыть ни шерсти, ни льна, ни кожи в нужных им количествах. Во-первых, деревня избегала, как уже сказано, отправлять в город на продажу за бесценок свои продукты; во-вторых, само правительство широчайшим образом пользовалось правом реквизиции, особенно относительно шерсти и кожи, необходимых для обмундирования и обуви войск. (Реквизиции состояли в том, что правительство отбирало весь имевшийся в округности данной местности товар, который был ему в этот момент нужен, и платило владельцам — на основании закона о максимуме). Таким образом, банкротились и останавливали работу одно за другим и суконные мануфактуры, и полотняные, и кружевные, и кожевенные заведения.

И не только потому гибли промышленность, что не хватало нужного сырья: продавать выработанные фабриками по той цене, которую устанавливал максимум, было невозможно, если не идти на скорое и несомненное разорение. А между тем именно фабрикантам, производителям товара, который они продавали оптом, было весьма трудно избавиться от исполнения требований закона о максимуме. Им приходили купцы и требовали товар по таксе, грозя позвать в случае отказа полицию. Банкротство объявлялось за банкротством, — и власти должны были каждый раз

убеждать, что эти банкротства не злые и не парочные, за которые, как сказано, полагались уголовные наказания, — но самые неподдельные, «несчастные», в точном смысле слова. Безработица при этих условиях стояла жестокая: тысячи и тысячи побирались милостыней, постунали (так это были счастливицы) в войска, уходили, куда глаза глядят, за границу. И что было хуже всего — это выяснившаяся невозможность даже для тех рабочих, которые работали на еще не обанкротившихся мануфактуры, — оставаться там, где они служили! Документы эпохи максимума полны жалоб, которые приносят властям хозяева, жалоб на побег, исчезновение рабочих! Мы тут подходим к третьему из намеченных пунктов: к выяснению условий, при которых была поставлена оценка рабочего труда при господстве закона о максимуме.

3. Общий закон о максимуме 29 сентября 1793 года уполномочил муниципальные власти, во-первых, определять определенную таксою заработок рабочего, и во-вторых, называть тюремным заключением тех рабочих, которые будут отказываться без уважительных причин работать у своих хозяев. Тотчас же в Париже и в других городах были опубликованы «максимальные» оценки рабочего труда выше которых рабочий под страхом наказания не имел права требовать от нанимателя. Вот некоторые из этих цен: лаеменички должны получать от 2 фр. 70 сент. до 3 фр. 75 сент. (смотря по категориям), каменички 2 фр. 70 сент., королевщины и красильщицы 3 фр. 75 сент., столько же столяры, обойщики, стекольщики, рабочие бумажных мануфактур от 2 фр. 25 сент. до 4 фр. 50 сент. (их было четыре категории), позари 3 фр. 60 сент. — 4 фр. 50 сент., рабочие в бумагопрядильных мануфактурах 2 фр. 70 сент. — 3 фр., литейщики 3 фр., высшей категории — 6 фр., орденжейщики от 3 до 4 фр. 50 сент. Такова была расценка некоторых категорий рабочего класса, получавших дневную плату. (Гораздо труднее исчислить действительный дневной заработок тех, которые получали сдельную плату, — ткачи во

всех отраслях ткацких производств, портные, сапожники и т. п.).

В общем, проведен был такой принцип: заработная плата (в 1793 г.) должна быть определена в $1\frac{1}{2}$ раза больше, нежели в 1790 году. А так как предметы продажи были таксированы лишь в $1\frac{1}{3}$ раза выше сравнительно с ценами 1790 года, то если бы закон о максимуме был, вообще, исполним и исполнялся бы в строгой точности, положение рабочих оказалось бы выгодным. Но мы уже видели, что закон о максимуме фактически не исполнялся, обесценение ассигнации прогрессировало, вещи, за которые в 1790 году платили 1 фр., в 1793 году стоили не $1\frac{1}{2}$ фр., как повелевал закон о максимуме, а 3—5—7—10 франков, в 1794 году даже 15 франков. При этих условиях существовать на заработную плату, определенную законом, было совсем немыслимо: это было хуже безработицы, потому что при безработице грозит голодная смерть, а тут еще нужно было работать, несколько не избавляясь от голодной смерти.

Рабочие массами покидали еще уцелевшие пока промышленные заведения и уходили, куда глаза глядят. Это начало сильно беспокоить власти, как центральные (комитет общественного спасения, имевший при Конвенте полноту исполнительной власти), так и местные (директории департаментов, муниципалитеты). Дело в том, что все же известное количество шерстяных мануфактур, кожевенных заведений, оружейных мастерских и т. д. сохранилось и имело работу, так как италось огромными казенными заказами, и с жалобами владельцев этих заведений на массовый уход рабочих правительством, конечно, только было считаться весьма серьезно. Далее Военное и морское министерства и дальше уже непосредственно в рабочих руках, для огромных работ по постройке казарм, военных верфей, по перевозке тяжестей и т. д. Во всех этих случаях власти получили право объявлять рабочих данной профессии под реквизиции и отправлять их при содействии полиции на

работы. В одном месте под реквизицией объявлялись ткачи-суконщики, полиция выискивала и ловила людей, прежде занимавшихся этим делом, и отправляла их на ту или иную шерстяную мануфактуру, имевшую казенный заказ и просившую достать ей рабочих; в другом месте под реквизицией объявлялись каменщики, землекопы, оружейники, кузнецы, плотники и т. д. и т. д. — и тоже насильственным путем приводились к предпринимателям и подрядчикам, взявшим казенные заказы. За новое бегство рабочему грозило судебное преследование, тюрьма, а при особенно неблагоприятных осложнениях — даже эшафот. Стачки рабочих в некоторых случаях в 1793—1794 г. г. приравнивались к революционному нападению на существующий строй. Особенно круто действовало правительство именно там, где были затронуты (уходом рабочих) интересы государства, но и, вообще, оно указывало категорически, что уход рабочих со всякой мануфактуры только из-за нежелания подчиняться максимуму — есть преступление, подлежащее немедленной каре. Однако и сами представители администрации понимали, что они, в сущности, требуют от рабочих невозможного. Когда без нужного числа рабочих оказались, между прочим, бумажные фабрики (выделявшие бумагу для ассигнаций и, вообще, необходимые правительству) и начались серьезные столкновения между оставшимися рабочими и хозяевами, то Конвент издал особый буровый закон, совсем подчинивший рабочих бумажных фабрик хозяевам. И в то же время один из комиссаров правительства, улаживавших конфликты, писал в Париж своему начальству (дело было осенью 1794 года): «Я не могу вам высказать, до какой степени необходимо дать им (рабочим) удовлетворительный ответ: цены на припасы и на матерiu новынаются с каждым часом; напр., масло стоило вчера 2 ливра (2 фр.) фунт, а сегодня 2 фр. 50 сант.; яйца стоили 25 шт. — 3 фр., а сегодня — 4 франка; пара сапог стоит 15 франков, локоть грубой шерстяной материи, стоявший год тому назад 5 франков, продается по 25 франков. Я не могу ручаться за

спокойствие на этой мануфактуре, если заработная плата не сделается вскоре пропорциональной жизненным потребностям».

Убегающие от реквизиций, гонимые и разскиваемые полицией рабочие в течение всего времени господства закона о максимуме должны были болтаться еще одной напастью насильственного обращения в сельскохозяйственных батраков.

Дело было вот в чем. В той части этого очерка, где речь идет о крестьянстве, я уже указывал, что сельскохозяйственных рабочих не хватало еще и до революции; что этому, между прочим, препятствовала распространенность самостоятельного крестьянского землевладения, а также арендных отношений. Далее, мы видели, что когда крестьянин нуждался в подсобном заработке, то ему гораздо выгоднее было заняться промышленным трудом, брать заказы от той или иной мануфактуры, прясть и ткать, так как этот труд оплачивался лучше и был легче, чем труд батрака. Но к этим общим условиям, препятствовавшим развитию батрачества, прибавилось со времен революции еще и третье. Франция почти не производила сельскохозяйственных орудий, а получала их из стран с более развитою металлургическою промышленностью — из западной Германии, Англии, отчасти Австрии. Но с тех пор, как война прервала сношения с этими странами, подвоз сельскохозяйственных орудий прекратился, и французские имения стали сильно от этого страдать. Даже хорошие серпы и косы приходилось с громадными издержками и проволочками вывозить из Швейцарии, единственной страны с которой сношения еще сохранились. Особый недостаток сельскохозяйственных орудий, сколько-нибудь усовершенствованного типа, вызвал необходимость обратиться к извешенным в наличности орудиям — грубым, простым, и это в свою очередь требовало обилия рабочих рук. И вот, в Комитет общественного спасения, пославший жалобу на недостаток рабочих, на то, что нет никакой возможности обрабатывать землю, так как никто не соглашался

заняться за установленную «максимумом» цену. Комитет не удовлетворялся приказом ловить рабочих и доставлять их землевладельцам. Он посмотрел на дело так, что Франция грозит страшная опасность, остаться без хлеба. Это опасение не оправдывалось действительностью, так как мы уже знаем, что громадная площадь земли была во владении и обработке крестьян-хозяев еще до революции, а продажа национальных имуществ еще увеличила эту площадь, мы знаем также, что крупные имения были явлением нечастым, а ведение сельского хозяйства в крупном имении самим владельцем непосредственно встречалось и того реже. Но комитет общественного спасения пожелал взглянуть на дело именно так, как если бы недостаток в батраках мог погубить отчество. 30 мая 1794 года комитет общественного спасения издал следующее постановление*). Все поденщики, рабочие, все те, которые «обыкновенно» занимаются полевыми работами, — если только они не объявлены под реквизицией со стороны военного ведомства — объявляются под реквизицией для работ по сбору урожая. Тотчас же муниципалитеты обязуются составить списки рабочих, обыкновенно занятых сельскохозяйственным трудом либо в своей деревне, либо в других местностях, и объявить всем этим лицам, что они находятся под реквизицией, те лица, которые обнаружат неповиновение, предаются суду и с ними будет поступлено, как с «подозрительными». Изъятие допускается лишь для больных и немощных, для тех, которые на своих землях заняты работою, «признаваемою необходимою» (или именно обработкою земли). Поденщики и рабочие, которые отправятся в другие округа, будут снабжены паспортами, выданными их деревнею. Не предъявивши паспорта, должны быть посажены в тюрьму, как подозрительные. Зарабатываемая плата, — конечно, та, которая определяется законом о максимуме. Поденщики и рабочие, которые вступают между собой в соглашение с целью отказать от работ, требуемых

*) Цитирую по моей книге „Рабочий класс в эпоху революции“, II, 428.

реквизициею, или с целью требовать прибавки заработной платы вопреки постановлению, будут преданы суду революционного трибунала (иными словами, — смертной казни) Комиссия земледелия, получивши от комитета общественного спасения это постановление, разослала его, сопроводивши особым циркуляром, местным властям («будьте скоры и суровы в исполнении этого распоряжения и отдайте нам скорый отчет в ваших стараниях. Всякое промедление, всякая слабость были бы преступлением. Быстрота и сила составляют душу республиканского правительства»). Особо сурово исполнялся этот декрет на юге (где больше всего всегда и жаловались на недостаток батраков). Комиссар конвента Манье, управляющий южными департаментами (Роны и Воклюз), настаивая на реквизиции, писал в своем публичном оповещении: «ни один класс граждан не может подняться выше закона, и чем больше революция сделала в пользу того, кто живет лишь своим трудом, тем больше имеет права законодатель требовать, чтобы такой человек не останавливался на поступательного хода должными мерами и неповиновением, которое имело бы самые губительные последствия для его же счастья».

Из распоряжений Манье мы узнаем, как именно выполнялось постановление комитета общественного спасения. В первом пункте его основного распоряжения предписывалось составить два списка: 1) всех земельных собственников данной местности и 2) всех лиц, «занимавшихся в 1789 году и позднее» поденным трудом. Вместе с тем собственники приглашались дать властям подробное описание количества земли, природы посевов и т. д. Всякий раз, когда собственники находут это нужным, пусть они обратятся к местным муниципальным властям за поощениями, указав, какие работы им необходимы, и муниципалитет дает им определенное количество рабочих, принимая в соображение, сколько, сколько есть у него рабочих на учете, и сколько есть земельных собственников в данной общине. При этом каждый собственник получает карточку с обозначением числа

рабочих, срока, на который они ему даны, их имен и т. д. Рабочий, который где-нибудь поступит на работу без разрешения муниципалитета, подвергается двухлетнему тюремному заключению и выставлению у позорного столба; этой же каре подвергается и тот рабочий, который потребует себе плату, выше назначенной. Так как и уйти до срока рабочий не мог, не подвергаясь таковой каре, — то это было как бы временною отсрочкою, если не в рабство, то в формальную и фактическую зависимость рабочего землевладельцу.

Давно уже максимум, которого так горячо ждала, и с такими усилиями получила рабочая масса в сентябре 1793 г., сделался для нее бичем проклятием, которое только облегчало ее отчаянное положение. Но избавиться от него удалось только тогда, когда — совершенно независимо от рабочих — произошел перелом в истории революции, так называемый переворот 9 термидора (27 июля 1794 года), повлекший за собою падение и казнь Робеспьера.

Нужно сказать, что правящая партия 1793—1794 г.г. так называемые монтаньяры, черпала свою силу вовсе не только в поддержке пестрой городской бедноты (которая оказала им такие услуги в конце мая и начале июня 1793 г. в момент решительной борьбы с жирондистами). Монтаньяры, с Робеспьером во главе, держались у власти главным образом, потому что и буржуазия, и крестьянство, испугавшиеся одновременных ударов, посылавшихся на Францию и со стороны иностранного нашествия, и со стороны внутренних контр-революционных бунтов, — протиснулись к ним в этот критический миг, и доверили им власть той партией, которая сумела самым крутым, самым решительным образом справиться с этим кровавым периодом террора: городская беднота

разделяла в «секциях, собраниях участков» столицы (и некоторых больших городов), получала даже по 2 франа на каждое заседание, наполняла «революционные комитеты», «наблюдательные комитеты» и другие учреждения с громкими названиями, имевшие власть следить за «подозрительными» и, даже, арестовывать их, — но вся эта видимая власть в основе своей покоилась исключительно на милостивом доверии со стороны того же Робеспьера и его товарищей: они отнюдь в этой городской бедноте не заискивали. И стоило кому-либо из этой же бедноты хоть случайно, ненарочно, провиниться пред властями, чтобы мгновенно погибнуть. В своей специальной книге о «Рабочих национальных мануфактур» я рассказываю случай с одним рабочим, который прервал как-то в собрании некоего члена Конвента, говорившего о необходимости всенародного ополчения, — прервал его вопросом, против кого будет это ополчение? Вопрос показался дерзостью, рабочего схватили, и, хотя ничего подозрительного за ним не было, продержали несколько месяцев в тюрьме и казнили. Подобных случаев было не мало. Вполне установленный факт, что из нескольких тысяч человек, казненных в 1793—1794 годах, подавляющее большинство было не из дворян, не из гонимых «аристократов», не из духовных лиц, не из буржуазии, а именно из городской темной, голодной и несчастной бедноты, попадавшей на неосторожном слове, на мнимых «преступлениях».

Переворот 9 термидора (27 июля 1794 г.) был вызван уже ясно сознанной широкими кругами общества ненужностью дальнейшего существования того режима, главным представителем и вдохновителем которого был Робеспьер. Когда Робеспьера везли на казнь, народ кричал «дойди тирана!», хотя еще накануне тот же народ беспрекословно ему подчинялся. Более умеренное течение восторжествовало в Конвенте; монтаньяры были отодвинуты на задний план и представители консервативной республики, защитники полного владычества собственнических кругов, спешили

уничтожить следы только что миновавшей эпохи террора. Отмена закона о максимуме была предрешана, и 24 декабря 1797 г. он был отменен Конвентом. Конвент при этом опубликовал следующее заявление: «Французы! Разум, справедливость, интересы республики уже давно противились закону о максимуме. Национальный конвент его отменил, — и тем более будет иметь право на ваше доверие, чем более станут известны мотивы, которые продиктовали этот опасительный (отменяющий) декрет... Наименее просвещенные умы знают теперь, что закон о максимуме изо дня в день уничтожал торговлю и земледелие; чем суровее становился этот закон, тем он становился неисполнимее: тщетно притеснения принимали тысячу форм, — закон встречал тысячу препятствий; от него постоянно уклонялись, и он разорил Францию».

Народ принял отмену максимума либо с совершенной апатией, либо кое-где даже с радостью. В частности, радость рабочих была отравлена тем, что обычай забирать их реквизиционным порядком остался и после отмены максимума. — После отмены максимума, Конвент просуществовал еще около 10 месяцев. Когда он разошелся, наконец, после трехлетнего владычества и передал власть согласно новой, им же выработанной конституции 1795 года, — директории, совету старейшин и совету пятисот, то рабочая масса приняла эту перемену с молчаливою покорностью. Что касается директории, то у нее было совершенно определенное отношение к рабочим: она и смотрела на них, как на подозрительный, неблагонадежный элемент общества, и вместе с тем несколько их не боялась. В эпоху директории рабочим пришлось прескучить, быть может, самую тяжкую годину, так как только выпала на их долю за весь революционный период.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Рабочие в эпоху директории (1795 — 1799 г.г.) — Их экономическое положение — Дело Бабефа и отношение рабочего класса к этому делу — Настроение рабочих к концу революционной эпохи. — Отношение их к утверждению верховной власти Наполеона Бонапарта. — Заключение

I.

Уничтожение максимума последовало тогда, когда он уже успел жесточайше распатать все устои хозяйственной жизни страны. Между тем, обстоятельства продолжали быть в высшей степени ненормальными. В качестве потребителей рабочие не испытывали ни заметного улучшения, ни ухудшения своей участи, так как предметы первой необходимости, как уже было сказано, очень мало подчинялись (фактически) таксации, — а в последние полгода, с падения Робеспьера, — уже и совсем этой таксации не подчинялись. А так как обесценение ассигнаций несколько не останавливалось, то цены продолжали подниматься в ужасающей прогрессии. С другой стороны, продолжалась безработица, затяжная, безнадежная. Правда, сырье стало несколько доступнее после отмены максимума, и если бы дело было только в сырье, то положение еще было бы терпимо. Но не было сбыта, и в этом заключалось главное бедствие. Сбыта же не было потому, что 1) внутренний рынок страны обнищал за 1792—1795 г.г., политические потрясения, террор, максимум, бунт в Вандее, бунт в Ионе, в Тулоне и т. д., усмирения всех этих бунтов — окончательно его разорили; 2) внешний рынок с 1792—1793 г.г. почти совсем перестал существовать для французской промышленности, 3) едва только максимум был отменен, как огромною волною хлынула во Францию контрабанда из Англии, из Голландии, из западной Германии, из Швейцарии. Эта контрабанда, которая, как выше было сказано, не имела смысла при максимуме, — теперь, когда можно было продавать товар

не реальной цене, неудержимо ширилась, и бороться с нею было до крайности трудно, несмотря на все усилия властей. Дело в том, что гораздо лучше оборудованная в техническом отношении промышленность Англии и некоторых континентальных стран еще до революции поставляла товары, несравненно более дешевые, нежели промышленность французская, и для обширнейшего французского рынка эти контрабандные товары оказались прямо необходимыми, так что власти в один голос жаловались, что потребители держат сторону контрабандистов и помогают им.

Все эти условия не давали французским промышленникам оправиться и после максимума. Нечего и говорить, в частности, о полном, конечном разорении городов, занятых выделкою предметов роскоши. В Лионе шелковое производство прекратилось почти вовсе, и до тридцати тысяч человек пошло по миру; в Париже голодали тысячи и тысячи ювелиров, мебельщиков и т. д. До полного упадка дошли и портовые города, вроде Нанта, Гавра, Бордо, Марселя, Шербурга, разорение которых началось еще с 1792 г.

Колоссальные толпы безработных самым своим появлением побуждали хозяев немногих уцелевших промышленных фирм понижать заработную плату, и рабочие ничего не могли против этого поделать. Мало того: они никак не могли, несмотря даже на серьезные протесты и начавшееся брожение, заставить хозяев расплачиваться металлическими деньгами, а не потерявшими всякое значение ассигнациями. Правда, им платили (в декабре 1795 года) сто франков в день, но эти сто франков реально стоили, примерно, 35 сантимов. Рабочие (в Париже) и вздумали требовать, чтобы им платили вместо ста франков ассигнациями — один франк серебром. Конечно, хозяева на это не пошли, и рабочие смирились.

Начались массовые самоубийства в рабочей среде. Самоубийства так участились, что рабочие даже сделали (19 мая 1796 г.) попытку собраться, чтобы обсудить это страшное явление. Полиция не разрешила собрания, как и, вообще,

не разрешала рабочим никаких собраний в эти годы. Когда (в 1796 г.), наконец, был прекращен выпуск бумажных денег, хозяева все еще, несмотря на постепенное восстановление металлического обращения, продолжали платить рабочим бумажками. Рабочие возмущались, но администрация жестоко преследовала их, на точном основании закона Ле-Шапелле, за малейшие попытки повести скопом, хотя бы и мирную, борьбу за свое пропитание. Полицейские власти горко следили за рабочими в эпоху директории, но никакою политической смуты в их умах отереть не могли. «Рабочие спокойны, хотя страшно страдают. В округах, населенных рабочими, мало занимаются политическими вопросами, мануфактуры, большие и малые, почти пусты... Рабочие много жалуются», — так доносили полицейские осведомители летом 1799 г. (29 июля 1799 г.). В то же время директория и не думала отказываться от насильственного триюда рабочих (правда, за плату) всякий раз, когда этого требовал казенный интерес. А так как плата назначалась, обыкновенно, на этих рабочих такая, что просуществовать на нее было весьма затруднительно, то рабочие, как и в эпоху максимума, всячески стремились укрыться или открыто отказаться от работ по принуждению. Тогда директория вошла в совет пятисот с следующим весьма характерным предложением (25 марта 1796 года). «Часто случается, что закон остается неисполненным, так как он не предписывает ни наказаний, ни попутительных мер. Рабочие, требуемые властями или комиссарами исполнительной директории для работ, необходимых для общественного дела, часто отказываются повиноваться реквизиции: вызываемые к суду, они упорствуют в своем отказе, и, таким образом, класс рабочих может вступить в соглашение, чтобы провалить меры, требуемые общей пользою или общественною безопасностью. Труд рабочего есть его собственность, как поле — собственность земледельца, который его унаследовал от своих отцов. А так как республика имеет право лишать гражданина его земельной собственности, если этого требует

общественная необходимость — при уплате справедливого вознаграждения, — то таким же образом, вознаграждая рабочего, она может временно располагать его трудом. Мы вас приглашаем внести закон, который уполномочивал бы суды подвергать исправительным карам, а в случае рецидива телесным наказаниям, всех рабочих, которые, будучи в свою очередь вытребованы, отказались бы повиноваться комиссарам исполнительной власти». Правда, дело не дошло до телесных наказаний, как о том жупотала директория; но все же репрессивный закон был издан (в апреле 1796 г.): уклонявшиеся от реквизиций рабочие в первый раз подвергались заключению в тюрьму на три дня, в случае рецидива — заключению от десяти дней до одного месяца.

При директории в бедственные времена для рабочих города Парижа делались исключительные милости: за ничтожную плату раздавался казенный хлеб в количестве 1—1½ фунта на человека. Но, во-первых, хлеб этот доставлялся в Париж неаккуратно и очень часто совсем не доставлялся; во-вторых, иногда он был такого качества, что люди им отравлялись; в-третьих, после многочасового ожидания при раздаче этого хлеба иногда в толпе начиналось настоящее побоище; в-четвертых, иногда выдавалась мука, — а так как ни дров, ни угля у бедноты не было и в помине иногда целыми неделями, то так невыпеченной мукой и приходилось питаться. Отсутствие топлива, теплой одежды — давало о себе знать особенно мучительно; безработица одолевала с каждым годом все хуже и хуже: в 1796 году больше, чем в 1795, в 1798—1799 годах больше, чем в 1796—1797 г.г. «Закрывают работы в такое суровое время года», толковали — по донесению полиции — рабочие между собою зимой 1795 г.: «хозяева хотят уменьшить нашу плату в то время, как все вздорожало сверх меры; но это — должно кончиться. Отчаяние, раздражение против богатых, слупцов, кизмурающих и прочих преступников сменялось иногда с горькими жалобами про-

директории. Все равно что: прошлое, будущее, Робеспьер, король, какое-нибудь «военное правительство» — лишь бы не ужасное настоящее, — вот как можно формулировать настроение рабочих в последние годы директории. «В царствование Робеспьера люди были счастливее», говорились в народе.*» И в тех же кругах говорили тогда же и иное: «да, углаж, у лиц, на рынках — громко говорят, что при короле люди были счастливее..., проклинают правительство, его обвиняют в дороговизне припасов». Но директория не боялась этих слов. Полиция хорошо знала, что рабочие иногда бессильны и покорны, что ни малейшей организованности у них нет, никаких новых социальных или политических планов переустройства общественного строя у них тоже нет, да по общему развитию своему они и вообще неспособны к какому-либо планомерному политическому образу действий, а сознание собственного слабосилия и необходимости полного повиновения у них весьма живо. Но что они под влиянием отчаяния способны на самые решительные протесты против правительства — об этом полиция доносила чуть ли не ежедневно. «На площади Мобез, где картофель продавался по 180 франков за четверик, женщины кричали: в чорту республику! Царствование Робеспьера было лучше; но крайней мере, тогда не умирали от голода» (14 ноября 1795 г.). Вот и другое показание: «В Сент-Антуанском предместье женщины обращались к солдатам, говоря, что у солдат есть хлеб, в то время, как они умирают от голода. В некоторых группах требуют снова режима Робеспьера, так как тогда было, что есть; другие требуют старого режима; все, наконец, — *такого режима, при котором едят*». «Были такие разговоры, что, так как республика не заботится о бедняках, то им все равно «придут ли в Париж англичане или шуаны (роялисты, бунтовщики в Вандее), так как англичане или шуаны не одевают их несчастнее». Всякий раз с ужасом ждали наступ-

* Донесение от 20 авг 1795 г. (см. „Рабочий класс в эпоху революции“, II, стр. 498 и сл.).

пления зимы; еще с *середины июля* начинали толковать: «как нам быть зимою с дровами, углем, свечами?». «Громко кричат, что невозможно далее жить, что готовится большой удар»... «Мысль о будущем заставляет содрогаться», признаются полицейские агенты, слушая все это: «когда подумаешь, что купец не продает, рабочий не работает, и что, к довершению несчастья, у рабочего отнимают средства к существованию» (февраль 1796 г.).

До какой степени рабочему классу были чужды в это время какие бы то ни было стремления к социальному переустройству общества, — лучше всего показывает отношение рабочих к так называемому *заговору Бабефа*. Бабеф (до революции мелкий чиновник, после 1789 года — журналист крайнего радикального оттенка) стал (с 1795 г.) во главе группы якобинцев, недовольных переворотом 9 термидора и новым направлением, воцарившимся с тех пор. Особенно же их раздражало введение конституции 1795 года, отдавшей власть в руки экономически-состоятельных и политически-умеренных слоев населения. Бабеф в своих газетах, которые он издавал в период 1795—1796 г.г., развил политическую программу, которая объединила вокруг него разрозненные радикальные элементы, недовольные директорией и, вместе с тем, готовые предпринять любые действия с целью изменить существовавший политический строй. Идеалом Бабефа и главной целью всех его стремлений было возвращение к конституции 1793 года, которая, в сущности, почти вовсе не действовала, так как 10 октября (1793 г.) она была приостановлена особым декретом Конвента, который считал целесообразным заменить ее чрезвычайным «революционным правительством» или, другими словами, диктаторскими полномочиями комитета общественного спасения и других органов власти. Эта конституция 1793 г. в глазах Бабефа была необходимым условием для водворения во Франции царства справедливости и республиканского братства, так как она давала всем гражданам право голоса и последовательно проводила принцип народного верховен-

ства. Вместе с тем, Бабеф — чем дальше, тем больше — начинал настаивать на необходимости не только политического, но и экономического равенства. Он высказался *против* частной собственности, как учреждения, влекущего за собою неравенство в распределении материальных благ. В будущем, идеальном, по его мнению, общественном строе производство будет организовано так, что каждый будет заниматься тем промыслом, к которому способен, и все, заработанное им, он обязан будет сдавать в общие, государственные склады; особая установленная народом организации должна будет смотреть за тем, чтобы каждому гражданину доставлялась из этих общих складов та доля продуктов, которая ему необходима. Но эти мысли Бабеф и высказывал редко, и очень мало развивал их, довольствуясь общими нападениями на собственность и угрозами собственникам (хотя в то же время, совершенно непоследовательно, — оговаривался иногда, что он — не против «маленьких» состояний, а только против больших; он, видимо, не желал запугивать мелких собственников). Конечно, идеи Бабефа о низвержении частной собственности не могли иметь в тогдашней Франции ни малейшего реального успеха: в стране, где крестьянство владело огромною площадью земли, где мелкая собственность была развита, как нигде в мире, где руководящим политическим классом являлась сильная и многочисленная буржуазия, там и речи не могло быть об успехе коммунистических идей. Еще можно было бы предполагать, что среди горюдой бедноты, и именно среди рабочих, Бабеф найдет сочувственный отклик. Но нет никакого успеха среди рабочих Бабеф не нашел. Да он и сам мало рассчитывал на рабочих, а больше обращался к солдатам, желая возбудить брожение в их среде (и больше говоря о восстановлении конституции 1793 г., нежели о проектируемом экономическом перевороте). *Заговор Бабефа был раскрыт, и глава заговора погиб на эшафоте*. По делу Бабефа было отдано под суд 65 человек, 15 из них принадлежало к рабочему классу, впрочем, ни

эти 15 человек были схвачены полицией без всяких оснований, так что не только все они были оправданы судом, но подавали потом прошения о вознаграждении за пятнадцатимесячное предварительное заключение, и власти им это вознаграждение выдали.

У нас есть и помимо этого факта доказательства, что пропаганда Бабефа не нашла себе почвы в рабочей среде. Правда, есть одно донесение полиции (от 2 апреля 1796 г.), что «в предместьях идут толки о том, как хорошо было бы, чтобы собственность была общей и чтобы доходы от промышленности принадлежали всем»; но, вообще говоря, сам Бабеф больше сулил рабочим прекращение дороговизны, чем пускался в рассуждения о частной и общей собственности*). Ни в мае 1796 года, когда был раскрыт заговор Бабефа и арестованы участники, ни в 1797 г., когда происходил долгий процесс Бабефа и затем последовала его публичная казнь, — рабочие решительно ничем не нарушали порядка и, даже, по донесениям полиции, оставались вполне равнодушными ко всему этому делу. Мало того, слышны были в рабочей среде такие отзывы: «лучше нам остаться, как мы есть, и отправить всех этих мошенников на эшафот»... «Пусть директория прикажет всех повесить и пусть ад подготит их». Спустя несколько дней после казни Бабефа о нем уже совершенно забыли в рабочей среде, и самое имя больше не поминалось.

В самые последние годы директории (1798—1799 г.) в полицейских донесениях все реже и реже говорится о рабочих. Они окончательно перестают интересоваться правящие круги. Лишь совсем изредка проскальзывают показания, что рабочие говорят о «военном правительстве», начинают мечтать о диктаторе, который освободит их от директории и даст им заработок и хлеб. Пусть кто угодно оделает с республикою что угодно: «предместья больше с это не станут вмешиваться», — такие разговоры слышались

* Я доказываю это рядом выдержек из всех писем Бабефа (см. „Рабочий класс“, том II, стр. 503—524).

в рабочей среде (21 июля 1799 года) за четыре с половиною месяца до того времени, когда генерал Бонапарт, отправясь на войско, уничтожил директорию и — пока фактически — захватил в свои руки неограниченную власть. Рабочие не только не пришли на помощь погибавшей республике, но с надеждами встретили установление военной диктатуры. А когда спустя семь месяцев тот же генерал Бонапарт разбил австрийцев при Маранго, то рабочие предались неистовой радости. Чуть только загревели пушки, известившие столице о пришедшем из Италии известии о великой победе, — рабочие бросили работу. «Рабочий класс обьянен от радости... они собирались на улицах, жадно слушая новости, крича: да здравствует республика! да здравствует Бонапарт!». Полиция даже сама удивлялась рабочим в эти дни: ведь, рабочий класс долгие годы казался уже совсем апатичным и равнодушным к политике. Еще более бурные восторги овладели рабочими спустя несколько дней, когда Бонапарт, приветствуемый громом пушек, иллюминациями, военною музыкою, въехал в Париж... Все упования рабочего класса перенесли на нового владыку; в истории рабочих, как и в истории всей Франции, как и в истории всей Европы, открылась новая страница, начинались события и перемены, тесно связанные с именем могущественного завоевателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Далеко не однородно было общее влияние, которое оказала революция на положение крестьянства и на положение рабочего класса во Франции.

Сводя к немногим словам то, что было рассказано выше, мы приходим к следующим общим заключениям: 1) Революция, совершенно освободивши землю и землевладельцев от феодальной тяготи, укрепивши обширный класс крестьян-собственников, могущественно способствовала дальнейшему развитию и, вообще, кодификации и крепости надела

землеуладения, до сих пор преобладающего во Франции в таких размерах, как нигде в мире. 2) Продажа национальных имуществ еще более увеличила и число крестьян-собственников и общую площадь крестьянского землеуладения. 3) Другое, не собственническое, слою крестьянской деревни оказались и слишком, по видимому, малочисленными, и слишком невлиятельными, чтобы заставить кого бы то ни было считаться со своими интересами, как во время составления наказов, так и в течение самой революции. 4) Достигнувши полноты уничтожения феодальных тягот, крестьянство совершенно перестает интересоваться политикою и равнодушно подчиняется всем переменам, происходящим в Париже. В общем же, крестьянство именно во время революции становится во Франции могущественною социально-консервативною силою — в смысле решительного охранения принципа частной собственности от каких бы то ни было покушений. 5) Что касается рабочего класса, то, вследствие ничтожного развития техники и, вообще, довольно отсталого (сравнительно с Англией, западною Германией) состояния целого ряда производств, — мы не видим во Франции конца XVIII столетия крупного производства в точном смысле слова, т. е. распространения таких промышленных заведений, которые бы сосредоточивали в своих стенах большие массы рабочих. Пред нами раскрывается картина господства домашней промышленности в разных ее формах и видах, отдачи работы на дом как профессиональным рабочим, так и крестьянам, смотрящим на промышленный труд, как на подобный промысел. С другой стороны, мы видим существующий рядом цеховой строй, который, однако, явственно разрушается вследствие допущения по закону домашней промышленности, разбросанной по деревням. 6) Эти обстоятельства, обусловившие полнейшую разбросанность и неорганизованность рабочих, не дали им возможности играть сколько-нибудь самостоятельную роль как накануне, так и во время самой революции. Принимая действительное участие в разных политических событиях в 1789,

1791, 1792—1793 г.г., рабочие всегда шли со другими, за тем или иным политическим течением, представители которого смотрели на них лишь как на средство, как на одно из орудий к достижению власти. При этом, вообще, выступали только парижские рабочие и лишь очень редко рабочие других городов (Лиона, Бордо). 7) 1789-ый год был для рабочих бедственным годом безработицы и голодовки; брожение в рабочей среде было вызвано именно стремлением получить какую-нибудь поддержку от властей в этот трудный миг. Новые власти открыли благотворительные мастерские, роль которых была велика (в смысле поддержки голодающих безработных) именно в 1789 году. 8) 1790—1791 г.г. были временем сравнительно лучшего состояния промышленности; в 1791 г. стали возможны даже обширные и длительные стачки рабочих с целью повышения заработной платы. 9) Эти стачки вызвали суровую репрессию со стороны властей, а также послужили непосредственным поводом к изданию закона Ле-Шапелье, принципиально воспретившего ход стачкам судебной кары даже простое участие в мирной стачке. 10) С 1792 г. начинается новый бедственный период безработицы и голодовки. Страшно ухудшает положение рабочих непомерное возвышение цен на припасы, вызванное обесценением ассигнаций. 11) Рабочие вместе со всею городскою беднотою упорно домогаются издания обязательной таксы; жиропидисты протестуют этому, монтаньяры, после колебаний, соглашаются, — и Конвент издает 29 сентября 1793 г. «закон о максимуме». Этот закон остается в силе $1\frac{1}{4}$ года и приводит к совсем обратным, бедственнейшим для рабочих, результатам. гибнут целые отрасли промышленности, безработица неслыханно усиливается, а припасы либо исчезают с рынка, либо продаются в обход закона по колоссальным ценам. Сами рабочие под страхом наказания принуждаются к работе по цене, определенной этим законом. Они разбарачивают администрация их ловит и доставляет как в пленники (на сельско-хозяйственную работу), так и к вла-

делам, промышленных предприятий и их казенные фабрики. 12) После отмены закона о максимуме и затем, при директории, голодовка продолжается под влиянием безработицы и дальнейшего обесценивания бумажных денег. Только в годы консульства Наполеона положение начинает понемногу улучшаться. 13) В течение всего периода революций рабочие остаются совершенно неорганизованными; даже самые последние попытки чисто-профессиональной организации строже воспрещаются по закону и преследуются властями. 14) В политическом отношении рабочие в первые годы ждут себе от революции всяких благ и весьма ей сочувствуют; с 1794 года — впадают в познейшую апатию и, даже, в отчаяние и встречают гибель республики совершенно равнодушно, а некоторые даже с большими надеждами. — В XIX век французский рабочий класс вступил измученным и неудовлетворенным. Его ждала длительная борьба за лучшее будущее.

Мы видим, до какой степени неодинаково жилось крестьянам и рабочим в период 1789—1799 г.г. Но произошло одно общее для этих обоих классов юридическое изменение, все последствия которого, возможно, были учтены лишь с течением времени: познейшее гражданское равноправие всех классов общества пережило все смуты и потрясения, было признано Наполеоном и подтверждено его Кодексом. Весьма любопытно было бы проследить, как при Наполеоне и познейших правительствах — очень медленно и постепенно — менялась психология и крестьянства, и рабочих под влиянием именно этого могучего фактора, каково было взаимодействие этого фактора — и других чисто экономических условий, непрерывно изменявшихся и влиявших на всю французскую жизнь. Но эта задача выходит уже за хронологические пределы настоящего очерка, целью которого было лишь ознакомить читателя с ничем не прикрашивая и не затушевывая, с познейшими результатами жизни и не затушевывая, с познейшими результатами научных исследований французского общества XVIII столетия.

Пособия.

Токвилль. Старый порядок и революция (перевод под ред. М. Г. Виноградова). — *Н. И. Кареев.* Крестьяне во Франции в последнюю четверть XVIII столетия (Москва, 1879). — *И. В. Лучицкий.* Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (Киев, 1900). — *Его же.* Крестьянская поземельная собственность во Франции накануне революции и продажа национальных имуществ (Киев, 1896). — *Его же.* Крестьянство во Франции XVIII в. (в томе II-м Книги для чтения по истории нового времени, Москва, 1911). — *М. М. Ковалевский.* Происхождение современной демократии, т. I (Второе издание, Спб 1912) — *Е. В. Тарле,* Рабочий класс во Франции в эпоху революции (т. I, Спб. 1909, т. II, 1911). — Критический разбор взглядов Лучицкого, Ковалевского и Тарле см в книжке *Н. И. Кареева.* — Эпоха французской революции в трудах русских ученых (Спб. 1912). В перечисленных трудах интересующиеся найдут указания на литературу предмета, имеющуюся во Франции.

Материалы к теме «Рабочие и крестьяне в эпоху Великой французской революции»

Е.Кожкин. Французские рабочие: от Великой буржуазной революции до 1848 г. историко-социологический анализ на основе документальных источников перв. трети XIX в.

- ВВЕДЕНИЕ
 I. РАБОЧИЕ ФРАНЦИИ В ЭПОХУ КОРПОРАЦИЙ И МАНУФАКТУР
 II. УЧАСТИЕ РАБОЧИХ В ВЕЛИКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/kozhoz2.pdf>
 III. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОЛЕТАРИАТ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
 IV. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ РАБОЧИХ В 30-40-е года XIX
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/kozhoz3.pdf>
 БИБЛИОГРАФИЯ
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/kozhoz_lit.doc

Дж.Рюде. Народные низы в истории, 1730-1848 гг.
 Французская революция
<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude.pdf>
 Лики толпы. Характер и поведение. Победы и поражения народных низов
<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude2.pdf>
 Идеология и классовое сознание. Идеология народного протеста
<http://vive-liberta.narod.ru/biblio/rude3.pdf>

Р.Монье. Сент-Антуанское предместье (1789-1815)
<http://vive-liberta.narod.ru/journal/monier.pdf>

Постановления Учредительного и Законодательного собраний и Национального конвента, касающиеся земельной собственности
http://vive-liberta.narod.ru/doc/doc_agr.pdf

Марк Блок. Характерные черты французской аграрной истории
<http://narod.ru/disk/7873464000/mbloch.pdf.html> иллюстративный материал - http://narod.ru/disk/7873458000/M_Bloch-ill.zip.html

Доклад Ле Шапелье и декрет относительно собраний рабочих и ремесленников одного и того же состояния и одной и той же профессии
http://vive-liberta.narod.ru/doc/lechapelier_loi.pdf

В.Маркова. Народное движение в Лионе (21 сентября 1792 - 29 мая 1793)

Продовольственный вопрос в Лионе и борьба Центрального клуба за максимум

Суд над королем и позиция Центрального клуба Лиона

Заседание Центрального клуба 6 февраля 1793 г. и его последствия

Борьба Центрального клуба за создание революционной армии и учреждение революционного трибунала

Нарастание конфликта между революционными и контрреволюционными силами Лиона и мятеж 29 мая 1793 г.

Ссылки для скачивания:

http://vive-liberta.narod.ru/journal/mark_lion_1.pdf

http://vive-liberta.narod.ru/journal/mark_lion_2.pdf

http://vive-liberta.narod.ru/journal/mark_lion_3.pdf

С.Лотте. «Дело Ревельона» http://vive-liberta.narod.ru/journal/lotte_rev.pdf

Ж.Лефевр. «Великий страх» 1789 года <http://vive-liberta.narod.ru/biblio/lefebvre1.pdf>

З.Чеканцева. Политические представления французских простолудинов на исходе Старого порядка <http://enlightment2005.narod.ru/papers/chekanz4.pdf>

З.Чеканцева. Открытый протест как волеизъявление: Франция XVII-XVIII вв. <http://enlightment2005.narod.ru/papers/chekanz6.pdf>

Я.Захер. Парижские секции 1790-95 годов: политическая роль и организация http://vive-liberta.narod.ru/biblio/zakher_paris.htm

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС (1792-94 гг.): подборка документов http://vive-liberta.narod.ru/doc/doc_prod.pdf

ФРАКЦИОННАЯ БОРЬБА 1793-94 гг.: подборка документов http://vive-liberta.narod.ru/doc/doc_classtrug.pdf

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ во ФРАНЦИИ в отчетах Толозана, Неккера и Ролана (при Старом порядке) http://vive-liberta.narod.ru/doc/econ_anc-reg.pdf

Ф.Саньяк. Гражданское законодательство Французской революции http://vive-liberta.narod.ru/biblio/sagniac_loi.htm

Ж.Жорес о Марате: отношение к аграрному вопросу, к объединениям рабочих и благотворительным мастерским (из т.3 «Социалистической истории Французской революции»)
<http://enlightment2005.narod.ru/arc/marat2.pdf>

А.Гордон. Классовая борьба и конституция 24 июня 1793 г. <http://vive-liberta.narod.ru/journal/gordon5.pdf>

Я.Старосельский. Проблемы якобинской диктатуры http://vive-liberta.narod.ru/biblio/starsl_jc_1.htm

А.Собуль. Политические аспекты санкюлотской демократии http://vive-liberta.narod.ru/biblio/soboul_dem.pdf

С.Абердам. Право избирать и право решать в 1793 г. <http://vive-liberta.narod.ru/journal/aberdam.pdf>